

РОМАН КОЖУХАРОВ

ДНЕСТР ВПАДАЕТ В ЧЁРНОЕ МОРЕ

РОМАН

Глава 5. Роса (Оглоед и Аглая)

*А нам говорят, что Волга впадает
в Каспийское море.*

*А я говорю, что долго не выдержу
этого горя.*

Серёжа Сыроежкин

Один мусор рассчитался сполна, хотя счёт был высок. Но и плата безмерна: он оплатил плотью той, что была ему предана. Отдал её сам, но прежде она обглодала его до костей. А ведь он был оглоед, каких мало. Поначалу он её пожирал. Правда, только глазами. Её, вначале преданную оглоеду, а позже им преданную, звали Аглая.

О, Огола, о, Оголива!.. О внутренней сути Аглаи оглоед до поры не ведал, ибо нутра её не познал, а довольствовался обозрением форм. Облик Аглаи отливал червонным свечением, окутывая соразмерность нежнотелой тропичной пропорции девяносто-шестьдесят-девяносто.

Сокровенно чреватые чадоделием бёдра тающей талией сопрягались с исполненной грудью, от вздыманий которой, откровением высокоточёной шеи, в струении рыжих волос возносился ангельский лик краснотелой Аглаи. Глаза её распахивались настолько, что, казалось, прольются набухнувшим мёдом, и суша, вернее — вся сушь, что ни есть вокруг, станет дном безбрежного моря блаженства.

Упиваясь, цепкий к числам глаз налогового подсознательно фиксировал совершенство сумм, сокрытых виссоном, шелками и бархатом.

Одевалась Аглая со вкусом и дорого, даже с вызовом, скорее всего, привнесённым в облик её извне. Очевидным даже являлось, что её *одевали* в знак щедрого и всеильного потакания вызывающим прихотям.

Воображение же оглоеда Аглаю ни с кем делить не желало, а его самого представляло неотъемлемой составной частью пропорции “Оглоед и Аглая” — соотношения, которое неумолимо схлопывалось, на глазах скрадывая дистанцию и ведя к неземному сношению.

В то же время оглоед сам с собой расчётливо примирялся в необходимости терпеть, ведь он был далеко не дурак, сверх того — оглоед, и прекрасно отдавал себе отчёт, что за “папик” имеет отношение к роскошной во всех отношениях девушке.

Это был совсем не тот случай, когда можно было, мёртвой хваткой взяв в оборот, так тряхнуть толстосума, что мало бы не показалось, чтобы вконец закошмаренный горе-барыга выпустил ненаглядную взгляду Аглаю в его, оглоеда, непосредственное и безраздельное пользование.

Аглаин хозяин был живоглот. Авторитетнейший его бизнес с чёрными и цветными металлами практически полностью находился в теневом секторе, сам же хозяин, как тать, тайлся в ночи. Впрочем, без всякого как. Он и был тать, воспитанник старой школы присваивания чужого добра и жизней, возросший во мраке кромешном, привыкший к тьме, как волк привыкает к своей обליнялой шкуре, не торопится с нею расстаться, как бы ни старались охотники с их флажками.

Все девяностые всё внимание живоглота отнимали крышевания, стрелки, тёрки, разборки. Кровавая баня захлёстывала его с головой. Дважды на живоглота совершались покушения: один раз стреляли из автомата, в другой — взорвали его “жигули”, шестёрку цвета “мокрый асфальт”. Живоглот и его команда не сидели сложа руки, принимали ответные меры, стояли за общее дело не на живот, а на смерть. Кто-то из кентов пал от пули, кто-то — от передозировки. Враги его умирали сегодня, а он неизменно откладывал на завтра и сам не заметил, как кривая его вывезла.

Везёт тому, кто везёт. Живоглота в кругу авторитетных соратников и противников по бандитскому быту уважали не только за рассудительную жестокость и весёлый нрав, но и за чуйку, способность как бы предугадывать будущее на шаг и на два вперёд. В рассуждения и размышления он вдаваться привычки не имел, а действовал по наитию, нередко вызывавшему ропот среди коллег по живодёрскому цеху. Стелился недовольный шепоток, что, мол, якшается тот с мусорами и даже вроде как с гэбэшниками. Впрочем, недалёкие поборники разбойничьей чести, осмеливавшиеся разевать пасть на живоглота, вскорости, как правило, вычислялись и в ходе правилки замолкали навеки.

Первейшим качеством в деле живоглот считал информацию и полагал максимум усилий на то, чтоб она к нему стекалась. Читал книжки, и пока подельники его играли в буру, терц, белот, стучали костяшками в нарды, он всё больше напирал на бильярд и даже на шахматы. К концу девяностых в партнёрах по бильярду и шахматам у живоглота обозначились не только предприниматели, но и милицейские чины, директора предприятий, врачи, начальники ЖКХ, спецавтохозяйства и прочих служб города, а позже — и руководители мэрии, а позже и собственно мэр, и народные избранники местного и республиканского уровней.

Сам живоглот называл это сеансом одновременной игры, связывая фундаментальный пересмотр, как он сам выражался, стратегии ведения бизнеса с неизбежной сменой времён и сроков. И хотя срок по старинке трактовался им исключительно в значении отбытия наказания, *новую движню* и необходимость ей следовать он всеми фибрами ощущал.

Казалось, время само умиротворилось от затей оголтелого криминального коммунизма, и пришествие нулевых ожидалось, как *двинувшимся* наркоманом ожидается *приход*, подобием напманского умиротворения, обнулявшего оголтелые судороги конца века и тысячелетия, пароксизмы девяностых.

“Всё течёт, всё меняется... Время — деньги. А деньги — время”, — говорил живоглоту, как бы вторя его мыслям, один плюгавенький мусор-налоговик, уступаая чёрного слона (живоглотом именуемого офицером) в эндшпиль азартнейшего противостояния. Живоглот играл белыми.

Он был весельчак. “У!” — пугнёт, бывало, неожиданно, ни с того ни с сего, в самый разгар обдумывания шахматной комбинации, и загогочет, довольный произведённым эффектом. И ещё играл словами, баламутил базарную чехарду, дурачась, словно разминаясь на случай серьёзного разговора, где понадобится пригрузить по-взрослому.

Посигналит кто-нибудь по дороге, а он орёт из машины: “Чего гудишь? Ты чё, Гудини?” Или сядет в баре, проведёт своей лапой по барной стойке и уже вещает бармену: “Чего такая липкая? Она чё, из Липкан?” Или отвисит тупорылой овце по тупому рылу оплеуху, та — в слёзы, а он ей: “Чего

хнычешь? Ты чё, из Хынчешт?” Ответит кто ему “да” или “нет”, а он переспросит: “И это всё? Чё так коротко? Ты чё, из Коротного?” — и давай гоготать.

Оглоед, которого живоглот в знак дружеского расположения прописал на приколе в Глодяны, завидовал про себя речевым живоглотовым игрищам. Сам он в словопрениях был не силён, подвизаясь в цифрах и схемах. Впрочем, этим мастеру уморы и стодился.

В это время живоглот как раз начал постепенно выводить из крошечной тьмы на свет малую толику своих грязных делишек, открыв, поначалу через третьих лиц, агентство недвижимости. До того живоглотовы головорезы и насильники по старинке практиковали крышевание и шантаж, домушничали, не чураясь разбоя с отягчающими.

Новые веянья рыночной экономики открывали массу возможностей. Живоглот был падок на нововведения, как какой-нибудь сладкоежка на сладкое, и эти открытия чудные для него были словно одна за другой откупоренные бутылки шампанского.

Стали приватизировать жильё, госимущество, стала функционировать система коммерческих банков. Эти вроде бы порознь развивавшиеся процессы в глазах живоглота сплелись в одну схему, словно жгут из турецкого *рыжья*, жгущий нестерпимым червонным сиянием. Зачем лезть в чужой дом, рискуя шкурой, если можно его отнять целиком, без шума и пыли, в качестве инструмента используя не потом и кровью забрызганные утюг с арматурой, а интеллигентную папочку с документами.

Подобрался народ, наполнивший сухую форму схемы живым содержанием. По меткому выражению живоглота, в теме недвижимости началась движня. Сеанс одновременной игры завертелся.

В отделе по приватизации жилищного фонда выявлялись потенциальные клиенты: пожилые и одинокие, проживающие в неприватизированных домах и квартирах. Заплетных дел мастера и их боевые подруги из подотчётной живоглоту бригады Абрека брали клиентов в разработку. Работали тонко, с артистизмом, втираясь в доверие под видом щедрых на вышивку собутыльников и щедрых на ласку и доброту домработниц с навыками медсестёр. С помощью разных методов — пыток, убийства или доведения до самоубийства — жилищная освобождалась от прежнего жильца. Квартиры записывались на имена бомжей, закладывались в банк, а затем выставлялись на продажу.

Для подстраховки осторожный в ведении дела, тем более нового и перспективного, живоглот, помимо главного специалиста отдела приватизации, получал информацию и от Диснейленда, работника Управления архитектуры и градостроительства. Этот подключился к схеме позже, и сам живоглот с ним не был знаком, а получал информацию через одного мусора-налоговика — плюгавого, но проваанного в своей налоговой теме и умеющего подержать умный базар. В итоге этот самый Диснейленд оказался едва ли не ценнейшим звеном в цепи, сливая важнейшую в деле информацию из базы данных недавно созданной Регистрационной палаты.

Пацаны Абрека отвечали и за поиск бомжей, и за всю чёрную работу и, надо признать, решали вопрос без проволочек. Бомжей, как на блюдечке, развелось много. На их имя записывали квартиры и впоследствии передавали банку в залог. И в банке был свой человек, баба с упругими формами и жадная до любовных утех и атрибутов красивой жизни Подакцизная.

Слабым звеном в цепи был нотариус: задействованная в деле баба психовала, требуя за подделывание доверенностей вознаграждения, непомерно с точки зрения живоглота, заставляла излишне себя уговаривать при оформлении сделок с недвижимостью.

Тогда-то и произошли изменения в судьбе живоглота, как векоре оказалось, кардинальные, сопоставимые с тектоническим переворотом. Как ни странно, спроводировались они содействием всё того же плюгавого легавого, присоветовавшего как бы между делом, за игрой, оказать от лица агентства недвижимости “Круговорот” спонсорскую помощь городскому первенству по плаванию. Поддержка детско-юношеских спортивных движений всячески

поощрялась властями города, участие в этих движениях как бы открывало дверь в клуб причастных, давая попутно массу возможностей, первая из которых — перспектива выхода из тьмы на свет, постепенная легализация нажитого непосильным заплочным трудом. Живоглот, сроду никогда ничего не дававший, а только привыкший брать, поначалу воспринял идею в ножи, но легавый, несмотря что плюгавый, сумел вкрадчиво и доходчиво объяснить, что здесь нельзя жадничать, ибо воздастся сторицей, да так, что и не мечталось.

Как в воду мусор глядел. И вообще оглоед (так за глаза называли невзрачного на вид, но мёртвой хваткой цеплявшего всякую для себя выгоду легавого его коллеги и братки живоглота) выказывал всё большую пользу в умножении и выходе из тени живоглота благосостояния и всё чаще выступал в роли ценного советника и наушника.

Выход из тени сопрягался с нарастающей необходимостью пребывать не в привычной ночи, а на свету, где живоглот, в силу уличного воспитания, ощущал дискомфорт. Тут и приходила на помощь подсказка или просто бодрое слово плюгавого легавого.

Вот и на открытии детско-юношеского первенства по плаванию в столичном бассейне живоглот, дебютировавший в роли одного из спонсоров, поначалу чувствовал себя, как на первом допросе, всё вытирал пот чёртовым носовым платком, которым пользовался первый раз в жизни.

Но выдержка легавого, его шуточки и скабрёзности по поводу нежных форм пловчих, представших на бортике бассейна во всей юной красе, быстро вернули живоглоту уверенность. К концу церемонии награждения он уже чувствовал себя как рыба в воде, познакомился с мэром, перекинулся несколькими репликами с представителями депутатского корпуса и в итоге добился согласия мэра на партию в шахматы в живоглотом банном комплексе, год как сменившем вывеску с “Чёрного треугольника” на “Круговорот”. И призёрки, действительно, были хороши, как на подбор. В особенности одна, стройная и статная, с выбившимися из-под резиновой шапочки червонными локонами, хоть и заняла третье место, но в запущенном закоренелым развратником тайном живоглотом отборе ставшая безоговорочной чемпионкой.

Оглоед на неё живоглоту и указал, когда она поднималась по металлической лесенке из бассейна. Тот её заприметил ещё на старте, цепко вёл, словно вбуравливал взглядом, весь заплыв, фиксируя промельки предплечий, ключиц, задней поверхности глянцевого бёдер в бурунах, окантованных плавательными дорожками.

И надо так выпасть орлу, что именно призы за третье место живоглоту и доверено было вручать. Перед тем как ступить на пьедестал, бронзовая призёрка сняла резиновую шапочку, и волнистая волна раскалённого червонного золота плеснула на живоглота и прожгла его навзлет. Что-то ангельски трогательно примешивалось к искренней девчужей радости от пусть третьего, но призового места, и улыбка сияла ослепительным белым глянцем. Стройность плотного жемчужного ряда нарушал промежуток между передними верхними зубами, самой природой допущенный изъян в жемчужно-ангельском совершенстве. Эта щель странным образом аукалась с ямкой, разделявшей её подбородок на две бесстыдные половинки, приковывая к себе взгляд. Зияние в сиянии ангельской улыбки бронзовой призёрки будто рождало некий ток и тягу, увлекшую оглоеда неотвратимо.

Он тут же выяснил, что бронзовая призёрка не только участница студенческой команды, но и выпускница, в этом году заканчивает юрфак парадизовского университета. Он же и передал бронзовой призёрке приглашение посетить офис агентства недвижимости, чтобы обсудить перспективы возможного трудоустройства.

Молодым везде у нас дорога. Родом Аглая, — а именно так звали бронзовую призёрку, — оказалась из-за Днестра, из правобережных Шарпен, жила здесь у тётки, так и не избавившись от лёгкого молдавского акцента, нежно обмыливающего сочетание согласных и гласных. Скромность и усидчивость её как бы коренились в попытке скрыть неуверенность сельской девушки, так и не пообвыкшейся в городской жизни. Это само по себе подкупало.

Но она сверх того была красавица. Плавательные дорожки, как ранее прибрежное к Шарпенам русло Днестра, до совершенства довели соразмерность нежнотелой, отливавшей червонным свечением троичной пропорции девяносто-шестьдесят-девятиности.

Живоглот потерял голову, а скромница и умница, к вящему удивлению оглоеда, пристально и ревностно наблюдавшего за развитием ситуации, несколько этим не смутилась, а приняла как данность и руководство к действию. Юрисконсультом в “Круговороте” она проработала меньше месяца, перейдя в нотариат на должность помощницы. Не прошло и месяца, как скромная помощница нотариуса заняла место своей бывшей начальницы, отправленной на заслуженную пенсию. Аглая, явившись из хлорированной воды парадизовского бассейна, будто Афродита из пены морской, воцарилась не только в кресле нотариуса, но сверх того — в окаянном нутре живоглота, словно трон, оседлав его каменное сердце.

У заведомой скромницы оказались бесстыжие бёдра, что тающей талией сопрягались с исполненной грудью, от вздыманий которой, откровением высокоточёной шеи, в струении рыжих волос возносился красногубый, кареокий ангельский лик. Глаза её распахивались настолько, что казалось — прольются набухающим мёдом, и суша, вернее — вся сушь, что палила пронащее нутро живоглота, станет дном безбрежного моря блаженства.

Аглая рассказывала оглоеду, что в младенчестве, во время купания в ковате — деревенском деревянном корыте — мама поднимала её из мыльной воды за головку для того, чтобы росла стройной. Вот и выстроилось по-маминому, в лад, в особенности — шея. Но эти задушевные признания случились позже, в самый канун незабываемой командировки на Кипр, послужившей началом беспримерного возвышения оглоеда, а вместе с ним — и Аглаи, или же наоборот, Аглаи и оглоеда.

Впрочем, события развивались стремительно, и до Кипра уже оставалось всего ничего. “Время — деньги, а деньги — время!” — толковывал, уже не так вкрадчиво, как раньше, а на правах советника и чуть ли не компаньона оглоед живоглоту, призывая того не закапывать в бетонных схронах кубышки с честно наворованным, а пускать в оборот, расширяться.

Тут как-то само собой совпало, что изобличили банду чёрных риэлторов, орудовавшую в сфере недвижимости: шантажом, обманом, просто калеча, не чураясь и мокрого дела, отнимали квартиры, переписывали на бомжей и перепродавали. Главарь банды Абрек погиб при задержании, один из подельников умер в камере от передозировки наркотиками, непонятно каким образом раздобытыми, остальные ударились в бег. Незадолго до этого скоропостижно скончалась заслуженная нотариус, которую с почётом вот, кажется, только-только проводили на пенсию. Сердце, по мнению сокрушённых коллег, не вынесло смены ритма жизни, непривычного пребывания в праздности и бездельи. “На пенсию торопиться не стоит”, — с горькой иронией сокрушались на корпоративных поминках коллеги безвременно почившей по писчому цеху.

Как раз в это время — и как вовремя! — живоглотов “Круговорот” соскочил с темы недвижимости, переключившись на тему цветмета — не сравнимую ни по прибылям, ни по минимизации КЧР, то бишь коэффициента черновой работы.

Кто бы мог подумать, что пункт по приёму чёрного лома, до кучи, в довесок перешедший вместе с коммерческими ларьками под крышу живоглота ещё в девяносто седьмом, станет краеугольным камушком, на котором воздвигнется живоглотова империя цветмета? Значительно расширились и спонсорские благодеяния живоглотовой структуры, всё своё внимание уделившие боксу, единоборствам и в особенности футболу.

И сам хозяин не заметил, как разрослось, по накатанному, прибавляясь, как квадратики чёрно-белой доски из клёна и ореха, с фигурками из слоновой кости и чёрного дерева, подаренной мэру на день рождения. Но не только шахматы, но и отдых, с застольем, парной, пьянкой, девками, сисястыми и жопастыми, как на подбор, визжащими и блюющими от разгула и безотказными к просьбам.

Игра была лишь преддверием *отдыха*, как живоглот это именовал, продолжавшегося до глубокой ночи, а то и до утра. То, что следует после шахмат, приманивает прочих участников сеанса одновременной игры. Те только-только входили во вкус власти, вникали в механизмы тайного функционирования её рычагов, смазываемых током откатов. Тщедушное воображение задроченных на работе и службе правоохранителей и градоуправителей втайне возделало нового образца поведения. Живоглот вдруг осознал, что его несправедливый и разгульный образ жизни развратника и разбойника и оказался тем самым чаемым образом нового русского, воплощением стиля красивой жизни.

Движуха поплёрла, и охотничьи флажки превратились в гирлянды на празднике в честь живоглота, а сам он стремительно превращался в хозяина нистрянского чёрного и цветного лома. Живоглот справедливо считал, что схватил жар-птицу за хвост, вернее же, как он говорил, “русалку за жопу”, лапой сгребая червонную чешую на жарко обтягивающем Аглаю платье. На эти и другие знаки внимания она, как правило, отвечала беззаветно преданной краснорубой улыбкой.

Иногда оглоеду казалось, что набухшая вишней улыбка предназначена вовсе не живоглоту, а ему — оглоеду. Но он в отношении с Аглаей сохранял дистанцию исключительно делового общения. Стоит признать, что сама она создавала предпосылки для подобной, почтительной во всех смыслах дистанции. Запросто оседлав моржеподобный загрибок живоглота, ролью фешенебельной, но бестолковой девушки босса не удовлетворялась, сходу стала вникать в дела, выказывая при этом сметливость и желание разбираться в сложной юридической казуистике.

А дел у “Круговорота” становилось невпроворот. Следуя оглоедовым мантрам насчёт того, что деньги делают время, а время, соответственно, деньги, “Круговорот” последовательно расширял географию, налаживая маршруты движения не только и не столько собственно чёрного и цветного металла, сколько маршруты движения вырученных от цветмета денег. К местным банкам уже подключились финансовые учреждения сопредельных признанных государств. Но оглоед смотрел дальше. Он прозревал ту скорую пору, когда финансовые потоки “Круговорота”, набрав силу, проложат путь к европейским банковским счетам и, наконец, прорвут плотины и вырвутся на морской простор, к заветным средиземноморским офшорам.

Вообще рисовать картинку в уме было не в привычках оглоеда. Он выстраивал схемы. Схемы — вот что оглоед считал главным в деле цветмета. Подобно геодезисту, чередой реперных точек скрупулёзно набивающему на карте татуировку границ месторождения, он находил удовольствие в дотошном, не в пример нерасторопным сослуживцам-налоговикам, погружении в хитросплетения путей отмывания чёрного нала, теневых банковских операций, в слежении хода финансовых токов, потаёнными руслами утекающих в обход хлипких шлюзов и створов налогового обложения в тридесятые просторы офшоров.

Искущённому в схемах, ему и явилась Аглая, заставив от сухих расчётов и схем переключиться на образы. Образ плоти искусил его, обглодал до кости, спровоцировав оголтелую пылкость. Воображение бесконечно крутило кино на тему того, что он с нею сделает, когда, наконец, она станет его. В том, что так и произойдёт, сомнений у налогового не возникало. Был кураж, спровоцированный событиями, предварявшими эту историю, но к ней самой отношения не имевшими. Впрочем, может быть, и имевшими, притом самое непосредственное. Когда волк рыщет по следу отары, в его желудке от голода образуется клубок овечьей шерсти. Свалывшийся клок предваряет кусок свежей агнчей плоти.

К тому времени, когда оглоед встретил Аглаю, им был пройден определённый жизненный путь, отмеченный рядом накопленных навыков, ценных как коллегами по службе, так и теми, кого легавый называл деловыми партнёрами.

С первых шагов налоговой своей карьеры оглоед точно с цепи сорвался, выказывая легавый нор. Не в пример сослуживцам, на зависть демонстрировал навыки оперативно-розыскной деятельности, рыл глубоко, шёл по

следу, доискиваясь до раскрытия запутанных дел, как было с делом “теневиков-пуховиков”, пытавшихся вывести из налогооблагаемой сферы производство шмотья, которое рыбацкие цеховики замутили под крышей местных бандитских авторитетов, или с делом “цветмета”, куда более сложным и хитро запутанным, с неучтёнными поставками цветных металлов в плавильные печи местного металлургического завода.

Оглоед был мало того, что лягав, но ещё и пытлив в освоении техники для ретрансляции, фото- и видеосъёмки, и шутил, что, не служи он во внутренних органах по налогам и сборам, подался бы в свадебные летописцы. Впрочем, хобби его было, как гранёный стакан, который он мог запросто, наполнив с горкой, выпить и не поморщиться на спор с сослуживцами где-нибудь в накуренном предбаннике, под гогом и визг пьяных тёлок. Не всеми гранями своего хобби оглоед делился с коллегами. Например, тем, что в раскрытии дела пуховиков-теневиков помог ему установленный загодя, на свой страх и риск, без санкции даже начальства, а не то что прокурора, жучок для прослушки.

Жучка — микрофон размером со спичечную головку, с сопутствующим оборудованием для дистанционной записи, а также миниатюрную видеокамеру и другие примочки китайского хайтека оглоеду привёз из Одессы знакомый радиолобитель в благодарности за то, что без патента торговал на Рыбницком рынке всякой мелочёвкой для оргтехники.

Для развития навыка легавый прослушивал коллег и начальство: что в курилке болтают, что происходит на допросах и вообще в кабинетах, умудрялся на свой страх и риск вести тайную видеохронику того, что творилось на служебных корпоративах, в других местах отдыха сослуживцев, где они отвисали в поисках отдохновения от опасных и трудных будней блюстителей правопорядка: шашлыки на реке, кабаки, сауны.

Тогда и открылась преисполненному страху и риска оглоеду тщета проведения чёткой границы между добром и злом и самого противопоставления, а значит — борьбы этих двух якобы непримиримых сущностей. Поначалу казалось, что в жизни, как в советском кино, расставлено всё по местам: зло накажут, добро победит. Горбатого вместе с плюгавым Промокашкой и прочей шоблой, жравшей водяру под грибочки с капустой, под белы ручки выведут из пропахшего кровью застолья прямым к стенке, а смертельно уставший, но счастливый Шарاپов поедет забирать из роддома миловидную мамочку с младенцем вновь воцарившейся эры милосердия.

Легавые догоняют, чёрные кошки шныряют, кто в какую щель успел юркнуть или взобраться на дерево. Зло должно неизбежно таиться, шемиться по крысиным щелям, дрожать в страхе в ожидании возмездия. Растрескавшейся земле и раскалённым крышам должно плавиться и гореть под конечностями помойных обитателей, пусть хоронятся в кронах, в подворотнях, спасаясь от неотвратимо исполненной силы и благородства носителей зубастой пасти.

Реальность, фиксируемая на микроплёнку, с безоглядным бесстыдством констатировала, что нет никаких мушкетёров добра, псов короля, усердных в посрамлении каналов-котов чёрного кардинала. Есть ментовско-бандитское средостение, напоминавшее персонажа мультсериала с дурацкой песенкой, которую никак нельзя было выгнать из головы: “Котопёс! Котопё-ос!..”

Суть бытия — это быт внеурочного времени.

Оглоед не чурался общих сборищ, пьянства и скотства, но без фанатизма дозировал участие необходимым минимумом, предвкушая истинное для себя наслаждение, когда он уединится для того, чтобы прослушать и просмотреть сделанные ранее записи. Здесь таились моменты его торжества и преодоления риска и страха, в прорве которых он пребывал по причине постоянного риска совмещения службы и хобби.

Разговоры в курилке и кабинетах про тачки и тёлок, пьянство и свинство на отдыхе у коллег были ровно такими же, как у уголовных антагонистов, за которыми те согласно уставу и клятве гонялись в урочное время. Непримиимо разведённые в числителях, с одной стороны, долгом службы, а с другой — страстью к лихому образу жизни, борцы с преступностью

и бандиты оказывались сведены воедино общим на всех знаменателем — и бухло, и закуска были из одного меню, и шмаль с планом и коксом — от одних и тех же поставщиков, и проститутки — общего пользования.

Оглоед чем дальше, тем нагляднее убеждался в широчайших возможностях тайного сыска, дающего самое ценное в деле — информацию. Та стремительно прибывала, увеличивая и сеть подконтрольных легавому информаторов и осведомителей. Он трезво оценивал расширяющиеся возможности и, как мог, сдерживал последствия своего всезнайства.

Легавый не унывал, проникаясь осознанием ситуации, равно как и постижением того, что путь от звёздочки младшего лейтенанта к генеральско-майорской звезде столь же труден, как от октябрятской — к Золотой звезде Героя Советского Союза.

Званных много и призванных, в том числе после демобилизации, но он то был избран. Всякий раз, включая искусно упрятанные в складках пространств помещений устройства, дошлый мусор всеми фибрами, до истомы, ощущал свою исключительность. Эти зыбкие, щекочущие нутро ощущения сливались в идею колпака. “Ничего, ничего... пусть я мусор... дайте срок, дайте время — все вы будете у меня под колпаком...” — так примерно рассуждал про себя дошлый мусор с выражением предупредительности, от которого и без того невзрачное его лицо делалось словно стёртым, выслушивал разглагольствования тупого начальства или издевательские насмешки душегубов, с которыми конфиденциально общался в рамках оперативной-розыскной деятельности. “Всё людское — это не ваше мусорское, а наше воровское”, — без зазрения, щерясь золотыми фиксами, откровенничали с ним приклатнённые предприниматели и предприимчивые блатари. Относились к нему в этом мутном и едком болоте, пропитанном серой и щёлочью, с уважением, обращались по имени-отчеству, вменяя в заслуги доскональное знание хитроумных схем выведения денег из-под носа у государства, и даже, сверх того, по слухам, побаивались, наделяя легавого сверхъестественными способностями ведовства и звериного нюха.

“Ничего, — думал мусор. — Все вы будете у меня под колпаком”.

Как выяснилось, тайну следствия чаще следует скорее оставить в тайне, нежели обнародовать. Например, с теми же “теневыми пуховиками”, к производству которых, как выяснилось, имел непосредственное отношение зять начальника дошлого мусора. Дело давно было передано в суд, а производство по нему всё откладывалось, как и обещанное дошлому налоговому непосредственным начальником внеочередное звание, а начальник начальника с ним вообще не здоровался.

Ещё более обременительным боком обернулось многое знание в деле с цветметом. После просмотра видеозаписи, сделанной в сауне “Чёрный треугольник”, легавый наитием обнаружил в тупике грузовой ветки металлургического завода пять не учтённых вагонов, где по документам был лом и отходы чёрного и цветного металла. Правда, документы никак не поясняли, почему хаотично запутанная траектория движения вагонов по железнодорожным веткам “Укрзалізниця” и Молдавской железной дороги вдруг упёрлась в нистрянский тупик металлургического завода. Содержимым вагонов оказался не просто лом и отходы чёрных и цветных металлов, а лом военный — каждый из пяти вагонов был под завязку засыпан стреляными автоматными и винтовочными гильзами калибра 5,45 и 7,62, а также гильзами выстрелов от артиллерийских и танковых снарядов.

Чёрный лом вполне мог быть относительно мирным — с украинских или местных полигонов, отходы учебных стрельб.

А мог быть груз из Чечни, где вот только недавно покинувший Нистрению командарм приземлился уже в новом качестве — секретаря Совбеза, — только что, в конце августа подписал с ичкерийцами в Хасавюрте мирное соглашение. Или то было эхо нистрянской бойни, тем же самым командармом и прекращённой? Урожай, до зёрнышка собранный с полей Кошницкого плацдарма, зноем и обстрелами расплавленных дубоссарских и бендерских мостовых, и загодя ссыпанный в закрома одного из “Вторчерметов”, во мно-

жестве функционировавших тогда по нистрянским городам и весям. Зло побеждено, так зачем пропадать добру?

Легавый держал в руках концы этого хитро сплетённого клубка и готов был начать разматывать последовательно, от конечной станции к пункту отправления, доискиваясь миротворцев, затеявших перековку мечей на орало. Но на том дело и стало. Вернее, начальство положило его под сукно. А схема с вагонами так и осталась драгоценным достоянием оглоеда, до поры отложенным в самый секретный ларчик. Ничего, придёт срок, и он эту схему извлечёт. Впрочем, нет, не срок... Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить... Время, время придёт! *Время — вперёд!*

Страх и риск, связанные с тайными изысканиями и, как следствие, неизбывное напряжение плющили легавого, вываривали его будто в какой кислотнo-щелочной среде, из легавого превращая всё более в оглоеда. А он терпел, ожидая чего-то судьбоносного, что враз избавит его от оков боязни, наградит и воздаст ему сторицей. Он копил информацию, всё шире забрасывал сети, совершенствуя навык, “своё кунг-фу”, как хвалился сам про себя, последовательно пополняя арсенал устройств негласного слежения. Он ждал, что вот-вот должно наступить. Что именно, толком он бы не объяснил, но был твёрдо уверен, что чуйка не подведёт и укажет ему: вот оно!

И оно наступило. Колпак, действительно, обрёл очертания головного убора волшебника.

“Круговорот”, живоглот и Аглая! Схемы — вот что главное в деле цветмета. Оглоед выстраивал маршруты движения лома, схемы финансовых потоков, Аглая находила для оглоедовых построений юридическое обоснование. На этом они и сошлись незадолго до Кипра, в ходе совместной командировки в Казахстан. Сократили почтительную дистанцию делового общения до нуля.

Оглоед и Аглая!.. Третий тут не мешай. Третий лишний. Оглоед прозревал горизонты и перспективы, втолковывал живоглоту про новое диво теневой экономики: офшорные зоны, про то, что надо наведаться на Кипр, разузнать и разнохатать на месте, как и что там работает. Живоглот упорствовал, причём чем дальше, тем сильнее: сбивал аппетиты, притормаживал темпы. Про Кипр и слышать не хотел.

Чавкая, отвечал оглоеду за многолюдным застольем, с обильной жратвой и выпивкой, тискал сальной лапой Аглаю: “Не нужен нам Кипр турецкий. И никакой не нужен. Нас и здесь неплохо кормят. И девки — огонь! А, Аглая? Пламя? А, оглоед? Ведь пламя?”. А сам нехорошо глядит на оглоеда.

А после заставляет Аглаю исполнить один из любимых своих номеров: *стишок для пашика*. Аглая, задрав для удобства платье по самые ослепительно стройные ляжки, забирается на стол, становится шпильками среди бутылки с вином и любимым живоглотовым спиртом “Роял”, раздвигая ногами тарелки с мититеями, шашлыком, оливье, нарезками и закусками, и читает гнусный стишок. Толпа рычит и ржет, и просит ещё, и чтита читает ещё, потом снова, на бис, и другие стишки, с непристойностями и похабщиной. Живоглот в восторге стаскивает Аглаю со сцены и тискает, как тряпичную куклу: смотри, мол, братва, моя девка, что хошь, с нею сделаю: хошь, отдам братве на съедение, хошь, в витрину кабацкую брошу. Смотри, оглоед, знай своё место! Тогда будто чёрную метку тому послал. Начал вдруг поминать Абрека, рассуждать про безвременную и странную гибель его и дружка.

Засентиментальничав, живоглот разоткровенничался: “Ты, оглоед, и не врубаешься, что все твои командировки и разговоры с людьми — пшик и пук. Я держу весь базар, вот как задницу этой фешенебельной тёлки. И мне дёргаться никуда не надо, потому как нити все у меня вот тут”. Он демонстрировал необъятную свою кулачину и продолжал: “Я своё уже отъездил, набродяжил и набодяжил. Тоже поначалу казалось: мир, как море, если глядеть с Лонжерона, — без конца и без края. А потом понял: шарик, он на самом деле о-очень маленький. Вот такусенький...”. Живоглот своими пальцами-сардельками попытался изобразить миллиметровые размеры шарика. “Мир сам теперь ко мне чешет. Как все дороги — в Рим. Тесно на шарике, ну, чисто, как на районе. Каждая собака друг дружку знает, всё про

всех ведают и вынохивают. Особенно в нашем деле — каждая морда, афиша и вывеска наперечёт. И никто никуда не девается”. Живоглот кинул и проговорил: “Запомни, легавый: ни-кто-ни-ку-да-не-де-ва-ет-ся”. Помолчал и продолжил: “Мочканул вот и думаешь: уф! нет человека — нет проблемы. С концами в воду... Наивняк! Ничего не с концами... Мы вот с Абреком одного фраера... Я с кентом его, Стасом, по детству корешился, на вольную борьбу вместе ходили. А этот по девяностым и не фраер был, а так, никто. Золотая антилопа: алканатор с жилплощадью... Ну, помогли ему в реку кануть... у Глиного... Жилплощадь утопшего перелицевали, бабок подняли. Абрек ему руки держал, а я — за шкуру и голову в Днестре, пока не затих. Да его и держать поначалу не надо было: ещё в Глино, перед тем как везти его на берег, залили в него спиртягу по самые зенки. Абрек надыбал где-то отраву техническую, мол, нечего на жмура переводить водяру. То есть тот ещё был не жмур, а уже в багажнике лежал, как мертвяк. Но это пока не подволокли его к речке. Тот вдруг протрезвел, почувал будто, что сейчас будет. И не кричал, и не молил, только начал вырываться. Только где ему от Абрека и от меня было вырваться. И ещё посмотрел. Абреку что, он сзади ему руки скрутил и держал... А я — за затылок его, башкой в воду. Исхитрился посмотреть... Думал: замочил и дело с концом, на нет и суда нет. А он есть! Является. И смотрит. Особенно, как дело на дождь. И Абрек вот стал приходить”.

Живоглот умолк и сидел так долго, будто в рот воды набрал. И вдруг говорит оглоеду прямо в ухо, обдавая вонью из гнилозубой пасти (живоглот боялся зубной боли и не посещал дантиста), что базар есть серьёзный с глаз на глаз и чтоб завтра в офисе с утра повидаться и разговор этот проговорить.

“Против лома нет приёма!” — орал живоглот в пьяном угаре посреди свального разврата, в который, как правило, скатывались, накреньясь, его застолья. И сам довольный, гогочет со своей шуточки и ещё объясняет, что и так дураку понятно: мол, лом здесь и как орудие, и новый, сулящий невиданные барыши бизнес по обороту цветного и чёрного металла. Это уже, раскачиваясь, как на палубе терпящего шторм корабля, утаскивая Аглаю в отдельный с банкетным залом кабинет. А ведь прежде бы, нисколечко не стесняясь, поимел бы деваху прямо тут, при братве и прочих шалавах, и тут же по-братски отдал бы её в пользование дружкам в обмен на другую, как он выражался, *чиксу* и *шкуру*. А с Аглаей не так, её он делить ни с кем не хотел...

Времена наступили другие, а в живоглоте всё плескалась старая закваска. Оглоед утверждался в мысли, что это мешает делу. Деловые партнёры, новоприобретённые в многочисленных командировках по вопросам лома и схем, по нутру такие же, как живоглот, но усилием воли поднявшиеся много выше, где полётом мысли можно обозреть морской горизонт, как бы исподволь, самим фактом своего наличия в схеме, намекали на насущную необходимость замены слабых звеньев, не прихоти ради, а для бесперебойного функционирования схемы.

Живоглот и в самом деле был домосед: в нистрянских пределах ощущал себя *на районе*, здесь была его бармалеева Африка, и дальше Одессы и Кишинёва свою красную от распутства и пьянства, украшенную поломанной брюквой афишу он почти не выказывал.

Были выезды в Польшу, потом в Якутск, в которых его негласно сопровождал оглоед, а после тот от поездов под любым предлогом стал отказываться. В Польше должны были состояться встречи по поводу поставок медьсодержащего сырья, но живоглот в Варшаве с головой ушёл в кутежи и утехи, и оглоеду пришлось самому ездить в Лодзь и Краков и решать вопросы в одиночку.

В Якутске он всё решал вроде сам, но от имени и по поручению живоглота, остро ощущая, как тесна ему шкура статиста и шестёрки при заплывшем моржовым жиром хозяине. Живоглот по-прежнему держал все нити базаров в своих руках, если не вживую, так по телефону. Мобильная связь как раз стала прочно входить в обиход, а живоглоту того только и надо было. Моржовая живоглотова лапа не отлипала от раскладной “моторолы”, второй своей половиной будто вросшей в его красномясое ухо.

Вообще живоглот чутко реагировал на технические новинки, испытывая нечто вроде священного трепета перед оргтехникой. Ещё и этой тропинкой протоптал оглоед подходец к живоглоту расположению, с отеческим терпением, как младенцу, втолковывая тому про работу компьютера.

Каким-то образом живоглот прознал про секретное хобби легавого, и здесь его будто прорубило: постоянно просил плюгового легавого замутить скрытую видеозапись того, что творилось в “Круговороте” до и после полуночи, в том числе и с собственным участием, а после устраивал просмотр, гоготал, тыча толстым пальцем в экран. Называл это “закрытый показ в видеосалоне”.

Только со своей огнерыжей никакого кина записать не просил. Хозяйски шлёпнув Аглаю по заднице, командовал ей: “Ну что, бронзовая призёрка! Пора...” — и уводил в отдельные, смежные с банкетным залом покои, захлопывая бронированную дверь перед носом оглоеда.

А в ту ночь, когда оглоед вознамерился, наконец, порешать с живоглотом про Кипр и невиданные высоты, замаячившие перед “Круговоротом”, а тот взялся вдруг откровенничать, всё пошло по-другому.

Информация касалась возможности поучаствовать в *освоении целины*. Так, в советском стиле, косовары вслед за якутами называли масштабные работы по возведению в Астане ряда мегаобъектов, призванных явить всему евразийскому, тюркскому и прочему миру роль доминанты и центра силы новой казахской столицы.

На целине затевалась мегастройка, призванная заполнить небесную пустоту строительными лесами и высотными кранами. Но прежде того строительство должно было быть законтрактовано, финансовые потоки перераспределены, назначены подрядчики, подписаны контракты.

Сойтись воедино всё должно было на Кипре. Тайное знание оглоед привёз из командировки к Полярному кругу, узнав про Кипр от якутов, которым инфу доверительно слили косовары в обмен на победу в тендерном конкурсе. Заручился оглоед и возможностью поучаствовать, хоть самой наискромнейшей толкой, в кипрской межёвке казахской целины. Лиха беда начало! Главное — попасть в схему, хоть на тридесятых ролях.

Перспективы открывались заоблачные: к косоварам и швейцарцам добавлялись прибалты, за латышами маячили, по линии стержневой арматуры для монолитного литья, американцы с восточного и западного побережья, по линии металлоконструкций для опалубки, тяжёлого бетона и попутно цветного лома должны были прибыть эмиссары из Дохи и Дубай, а за ними саудиты, по линии оргтехники, электронной начинки и прочего фарша ожидалась китайцы и японцы.

Оглоед в общении с деловыми партнёрами выказал напор и смекалку, увязав проведение негласного делового форума именно на Кипре с офшорным статусом экономики острова-государства.

Вообще, за короткий срок легавый здорово поднаторел и натаскался в вопросах не только отслеживания, но и перенаправления финансовых потоков. Не говоря уже про успешное продвижение оглоеда по карьерной лестнице, назначенного как раз перед поездкой в Якутск на должность начальника районного управления по налогам и сборам с присвоением внеочередного капитанского звания.

Оглоед был проворен и жаден, в первую очередь, — до информации. Тут почувал: вот оно! ни в коем разе не сметь этот шанс упустить!

Неисповедимы маршруты 90-х... Стоило допереться до вечной якутской мерзлоты, чтобы заварить кашу с косоварами, подряженными на строительстве мегаобъектов в новой казахской столице.

Тогда оглоед уяснил, что успех дела во многом завязан на многопрофильности. Например, косовары мutilи сразу в трёх направлениях: строительство, металл, автозапчасти. По каждому из направлений выстраивались свои схемы: по строительному — возведение объектов, недвижимость, металл в сегменте стройматериалов; по металлу — металлопрокат, драгметаллы, лом, в том числе и битые авто, а здесь уже цеплялся авторынок и т. д.

Но сверх того прочувствовал оглоед, что исток и исход, омега и альфа, окончание начинание любого дела одно — деньги. “Время — деньги, а деньги — время”, — так вещал казахскому телевидению главный архитектор мегапроекта Диас-Янковский, горделиво рея над микрофоном своим седовласым, темнолицым орлиным профилем. Потому судьба казахских подрядов и будет вершиться на Кипре: там стихия офшора, чистой финансовой энергии, которая материализуется на целине, доверху заполнив небесную пустошь кварталами небоскрёбов, концертными залами, мечетями, торговыми центрами Астаны-Сити.

Оглоед навёл справки, составил по поводу целины целое досье, пробыл, в том числе и по каналам спецслужб — по ещё одной из своих многочисленных схем, обеспечивающей сокровенными данными, затаённой, но функционирующей эффективно.

Процессом на целине рулил архитектор с мировым именем и испанско-одесским замесом, железный механик Диас-Янковский. На видеоинтервью казахскому телевидению он выглядел стариком — *ветхим денми*, как непонятно шутил с непонятным акцентом сам Маноло, белый как лунь, но, на странном контрасте, до черни обветренный на казахских ветрах. Но все строительные схемы, касавшиеся подрядчиков, застройщиков и заказчиков, он запросто, словно играючи, собрал в пучок своими узловатыми пальцами.

Железный механик был сед без залысин, жилист и сух, с аккуратно подстриженной бородой, обликом будто бы недобитый в гражданскую князь или граф Мальборо, постаревший в ковбойском седле. На стройке главный архитектор функционировал бесперебойно, по собственной воле решая весь ворох вопросов — от выбора снабжающих и подрядных организаций до подённо-ночного, по часам и минутам порядка реализации их договорных обязательств, от марки бетона до сверки минут по заливке его на объекте.

“Маноло лёт монолит”, — так почтительно итожили косовары. Они возили на стройки Астаны бетон и металлоконструкции для опалубки, но, по их словам, текущие поставки — это лишь капля в море того, что потребует после кипрской встречи, когда определятся застройщики. Ждали на остров и самого архитектора, который должен будет увязать все концы встречи в один морской узел.

— Маноло?! — вдруг, икнув, поднял прикрытые веки живоглот. И потянувшись, шумно, во весь стол отрыгнув, добавил:

— Диас — мой кореш! Маланский, пардоньте — миланский бродяга! Чёртов одессит. Ха-ха-а! Только вот вчера с ним базарил! Так, Аглая?

Оглоед даже поперхнулся от неожиданности и, не удержавшись, переспросил:

— Маноло?!

Он был уверен, что все его речи — коту под хвост, мимо красноясых ушей живоглота, который опять надрался спиртяги, как свинья, и дрыхнет прямо за столом. Такие коленца в стиле живоглота: прикинется спящим и пьяным, а сам исподволь зыркает, всё слышит, всё запоминает.

И вдруг живоглот и... Маноло? Откуда нистрянскому живодёру, с малолетки барахтавшемуся в местной болотистой грязи, было знаться с известным на весь белый свет стариканом, архитектором с обликом недобитого белогвардейского графа, которого и якуты, и косовары с почтением именовали не иначе, как *железный механик*, добавляя в унисон полущёпотом: “Маноло лёт монолит”?

— Кипр, говоришь? Целину норовишь поднимать? Ты, мусор, ломом подпоясанный?! — вдруг зло и даже с угрозой произнёс живоглот, буровя своими чёрными зрачками оглоеда. И, грузно поднимаясь из-за стола, бросил приказным тоном, не терпящим возражений:

— Идём, побазарим... И ты, Аглая... Идём...

Все ажурные построения, терпеливо, бирюлька за бирюлькой, возведённые воображением оглоеда, в тот миг рухнули в какую-то непроглядную, обжигающе холодную пучину. Засыпался, за шаг, за полшага до... не дотерпел. Неужели пронюхал живоглот про них с Аглаей? А чего он ждал? Чуйка

у живоглота была звериная. Тоже — атрибут старой, уличной школы. Но ведь и оглоед собаку, можно сказать, съел на крадучести, осторожничал сверх меры, ни полсловом, ни жестом стараясь себя не выдать. Но этот хрен моржовый всё же как-то вызнал. В хитрых уловках, подставах и подлостях с живоглотом лучше было не тягаться. Он был в силе, и оглоед, лишь набравший силу и связи, понимал, что в открытую против живоглота не попрётся — проглотит целиком и не подавится.

И вот базар, и не с глазу на глаз, а в присутствии Аглаи. Оглоед протрезвел сразу тогда, вставая из-за стола. Выпил он много, потому что сидел рядом с живоглотом, а тот пил, как слон. Страх, гнездившийся где-то в печёнках и кишках, заполнил оглоеда до краёв, выдавив весь хмель во вне. “Вот тебе и колпак”, — думал оглоед.

Смежные с банкетным залом покои живоглота представляли собой частую подобие рабочего кабинета, с протяжённым директорским столом и прочей офисной мебелью, компьютерами, телевизором и видеоманитофоном, а частью, отгороженной стеллажами с книгами и папками по бухгалтерии, — подобие алькова с двуспальной кроватью, трюмо и тумбочками. Обе части были обильно уставлены дешёвой позолоченной и фарфоровой дребеденью, к которой живоглот питал необъяснимую слабость.

“Присаживайтесь”, — с напускной вежливостью обратился живоглот к оглоеду и Аглае, а сам открыл ключом массивный сейф, стоявший по правую руку от директорского кресла и долго там возился. Оглоеду было видно, как он перекалывал в ровные столбцы наваленные как попало деньги, пачки долларов, в банковской упаковке и перехваченные резинкой. Расчистив путь, он сунул руку глубже и вытащил чёрный пистолет “ТТ”, несколько секунд подержал его, словно взвешивая моржовой своей лапой, и подсунул поверх пачек, почти впрытык к верхней стенке сейфа.

После паузы из самой глубины бронированного нутра живоглот достал видеокассету и, запросто обратившись к оглоеду, попросил того включить видеоманитофон.

— Ты у нас по части техники копытом землю роешь. Чисто порнокопытное!.. А, оглоед?!

Оглоед молча, двигаясь, как в замедленной съёмке, исполнил просьбу живоглота. На экране телевизора обстановка комнаты, его, оглоеда, комнаты, вернее не его, а квартира однокомнатная, которую он снимает возле промзоны для свиданий с бабами. Заходят двое. Аглаю он сразу узнал, а себя не сразу. Неужели он со стороны такой неказистый? Он сходу выказывает нетерпение, начинает целовать Аглаю, сбрасывает с себя одежду, раздевает её. Она отвечает его поцелуям, помогает расстегнуть блузку. Потом он целует её в грудь, они ложатся на кровать, он продолжает целовать её, потом они занимаются любовью, а он всё целует её, словно не в силах оторваться от её губ. Словно её рот и лицо — кислородная маска, которая должна выскочить в самолёте в случае аварийной ситуации.

Такие маски демонстрировали стройные стюардессы, прикладывая их к своим глянцевым лицам в самолёте, летевшем стамбульским рейсом. Но когда живоглот душил легавого там, в покоях, оглоед ещё об этом не знал. Он ни разу не летал самолётом, в многочисленные свои командировки отправляясь на поезде или на автомобиле.

Как-то само собой получилось: по телеку ещё шло кино для взрослых, и живоглот попросил Аглаю подать ему стакан со спиртом, а когда она подошла, ударил её наотмашь. Ударил ладонью, но она, словно тряпка, отлетела к ногам оглоеда. И тут он не вытерпел и кинулся на живоглота, и в тот же миг шея его словно попала в тиски. Будто металлический лом обмотался вокруг трахеи и затягивался всё туже, пока оглоед не канул во мрак.

Трудно сказать, почему живоглот его не додушил. Аглая утверждала, что это она заставила живоглота отпустить свою жертву. А может, и сам живоглот посчитал, что спектакля достаточно. Он всегда, даже посреди самого бурного излияния эмоций, вёл себя очень расчётливо.

Перед самым отъездом на Кипр живоглот вдруг попросил у оглоеда извинения, чего с ним прежде никогда не бывало, мол, погорячился из-за бабы,

а оно того не стоит, даже ради такой, как бронзовая призёрка. “И потом, оглоед, пока тебя душил, вдруг скумекал: “А что, как, заделавшись мертвяком, начнёшь ко мне являться?” Рассуждая так, запросто, живоглот загоготал и сквозь смех добавил: “Один чёрт, всё равно припрётся, что с этого света, что с того!.. Так от тех визитов пользы — одно расстройство. А здесь ты ещё для меня постарайся...”

Оглоед отмалчивался и только смеялся в ответ. Живоглот сам подписал себе приговор. Теперь это был вопрос времени. Оглоед чувствовал, что ещё не время, но скоро оно настанет.

В напоминание о полученном уроке остались ему красные зрачки: сосуды полопались, когда оглоед, пурпурно-багровый, хрипел от удущья, теряя сознание.

Аглая говорила, что глаза у него теперь цвета вишни, и ей страшно смотреть ему в лицо, особенно когда они занимаются любовью. Поэтому она поворачивалась к нему спиной.

Перед отъездом они часто это делали. Словно поездка на Кипр обнуляла всё произошедшее к чёртовой матери, суля что-то новое, доселе не бывавшее в нистрянских болотах и топях. И живоглот словно что-то почуял. Отдавая распоряжения по поводу маршрута, вёл себя доброжелательно, тихо и как-то пришибленно.

“Ты у нас ломом подпоясанный. Готовь свою аппаратуру. Готовь камеру. У тебя будет много работы”, — многозначительно вещал живоглот, и в этот миг проскальзывало в его буровящем взгляде что-то тяжёлое и недоброе.

Оглоед отвечал за логистику, занимался покупкой билетов, а живоглот утверждал маршрут и давал бабки. Рейс из Кишинёва в Ларнаку был быстрее и дешевле, но путь почему-то выбран был путанный (потом уже стало понятно, почему): из Одессы в Стамбул, потом самолётом в Бодрум, а оттуда пароходом — в Киринее, порт на территории турецкого Кипра.

“В Киринее — кирнём! У меня там кенты! И в Стамбуле! И в Бодруме! Ох, гульнём! Ох, оттопырится! — орал живоглот и, оживляясь, гоготал: — Ты думал, живоглот так прост? Ха-ха! Живоглот не прост! Мир сам канает ко мне. Все канатные дороги ведут в Рим. Живоглот всех вас съест и не подавится!..”

Началось всё в Одессе. В ресторане гостиницы “Красная” их встретили некто Ацкий и Ицкая, будто мама с недорослем-сыном. Оттуда, плотно отобедав, они все вместе отправились на Приморский бульвар, в гостиницу “Лондонская”. Лимузином, несмотря на облик изнеженного еврейского мальчика, лихо рулил Ацкий. Чемоданы, по требованию живоглота, они оставили в номере “Красной”, только оглоеду он распорядился взять всё необходимое для видеосъёмки, а Аглае — надеть своё вечернее платье и накрасться так, чтоб “глаз резало”.

По странной прихоти живоглот звал её в дороге “Наташка”, и оглоеду наказал так к ней обращаться, и Ацкому с Ицкой при встрече так её и представил. “А-а! Так вот она какая, Наташка!” — откликнулась Ицкая, пытливо осмотрев Аглаю-”Наташку”. Её теперь, действительно, будто подменили: прямо перед поездкой живоглот заставил её постричься и покраситься блондинкой под Мэрилин Монро.

В роскошных апартаментах с видом на Дюка и морвокзал их ждали Барабас и Синдбад, местные авторитеты и кореша живоглота. Все пили шампанское, выдули меньше чем за полчаса целый ящик. “Голос у тебя красивый, Наташка!.. Но сама ты — ещё красивее...” — напирал на неё Барабас. Живоглот признаков недовольства не выказывал. Барабас предложил сообразить партеечку, остальные поддержали. “А этот?” — спросил Синдбад, кивая в сторону оглоеда. “Это со мной, — уточнил живоглот. — Мой видеолетописец”. — “Писец? Ха-ха! Вот и я про писец. Не пора ли встать за игру?” — заорал Барабас и загоготал, совсем похоже на живоглота.

Ацкий с Ицкой и с симпатичной горничной в крахмальном переднике и наколке в каштановых волосах принесли ещё ящик шампанского и открыли одну за другой две бутылки, и выпили, а живоглот, Синдбад и Барабас

сели играть за большой круглый стол, накрытый крахмальной скатертью до самого пола, а Ицкая подвела горничную к краю стола и, приподняв полог скатерти, как собаку, на четвереньках запустила её под стол.

Играли в *каменные лица*. Каждый, плотно придвинувшись к краю, ставил на кон сумму, бросая *зелень* в центр стола, а потом надо было угадать, кого в этот момент под столом обслуживает ртом переодетая в горничную проститутка.

Параллельно игроки вели разговоры о проблемах с графиком разгрузки в порту металла, связанных с наплывом из Стамбула “челночников”, про контейнеры и седьмой километр, про доставку товара через плавни Кучурганского лимана.

Живоглот выдал себя первым. Он, гогоча, заявил, что боится щекотки, и тут же увеличил ставку. И опять проиграл.

В просторном номере, обставленном красной мебелью и отделанном деревянными панелями под цвет терракота, за столом со жратвой, шампанским и заморским вискарём тоже обсуждали дела. Ацкий почти не пил, мусоля ещё в начале налитый бокал, зато жрал, не переставая, будто приехал из голодного края, изредка, с набитым ртом и виноватой физиономией нашкодившего ученика, поддакивая Ицкой. Та вела себя, как матрона на троне или директриса на родительском собрании: тараторила, не умолкая, манерно пускала дым сигарет с ментолом, плела нескончаемую вязь по поводу режима работы морского порта, схем разгрузки контейнеров, каналов поступления шмоток и металла в портовые доки, запросто пересыпая свою одесскую речь отборнейшей матерщиной.

Всё у неё было схвачено и в портовой администрации, и на таможне, и на железнодорожном узле. Под снятым пальто оказалась она вовсе не такой старой, как показалось огледеу вначале: упруга наполненным формами телом, с властными жестами холёных, чрезмерно униженных драгоценностями рук, будто ломавших над столом свою, только им одним ведомую комедию. Кольца и браслеты на пальцах, хищно наманикюренных багрецом, брюлики в ушах дополнял ручей рыжья, жидко струящегося в пышущей глубине декольте.

С толку сбивало лицо Ицкой. Будто неравномерно обтянутое тёмно-зернистой кожей, собиралось местами в морщины и складки, стущая ещё больше темноту, испещряя щёки и рот, словно борозды кровостока на лезвии ножа или морде английской или французской бульдожки, вкупе с отморозенно стылмым взором никотиновых, мутно-жёлтых зрачков. Оно казалось подобием надменно-презрительной маски, наводившей на мысли скорее не о количестве прожитых лет, но об образе жизни ицколицей владелицы. В обиходе же ицколица оказалась не в пример простецкой, панибратской, вернее же — панисестринской.

Ещё оказалось, что Аглая, она же Наташка, во многих вопросах была в теме. Умело встревала в базар, влеталась в разговор уверенно и по делу.

Игроки сидели поодаль, у распахнутой на балкон двери, откуда внутрь волнами плескал шум и гам городского праздника. Живоглот и гоп-компания умудрились нагряться в жемчужину у моря в аккурат на День освобождения города от немецко-румынских захватчиков. Первый тост за поляной, накрытой в роскошном двухкомнатном номере “Лондонской”, поднятый Барабасом, звучал за победу и за свободу. Живоглот, мастер плетения звонкопустопорожных словес, предложил, учитывая место проведения банкета, помянуть и союзников, и помощь их по ленд-лизу, которая чтобы и в нынешние времена не оскудевала. Барабас и Синдбад, гогоча, с готовностью поддержали продолжение тоста, и Барабас уточнил, что за Лизу с удовольствием выпьет, потому что ей сегодня придётся хорошо поработать, и что Лизу уже можно вызвать, а Ицкая уточнила, что девушку зовут не Лиза, а Лиля, а Синдбад зарычал: “Ого! Лиля! Оголи Лиллю!” — а Барабас, обращаясь к Ицкой, веско озвучил, чтобы та *не базарила ваще* и что если он сказал Лиза, значит, девка и будет Лиза, и что если Ицкая вздумает базарить, то Лизой побудет она. А Ицкая за словом в карман не полезла и ответила, что вздумает базарить, потому что намеренно провоцирует Барабаса

и нарывається, потому что, мол, именно как раз очень хочет побыть в шкуре Лизы, и ей ни капельки не впадлу, да только вряд ли сам Барабас такого расклада захочет. А тот вдруг заржал во всю глотку, а за ним и остальные загоготали, и Ацкий заверещал, как поросёнок, которого режут, и оглоед тут же налил и все выпили ещё по бокалу.

Высокие окна были занавешены чуть приоткрытыми, тяжёлыми портьерами тёмно-красного цвета. Стены были инкрустированы красным деревом, и мебель тоже была вся из красного дерева: столы, стулья и огромная двуспальная кровать, занимавшая чуть ли не половину комнаты. От этого свет обретал терракотовый тон, напоминая освещение в комнате для проявки фотографий.

Для оглоеда было в самый раз. По рекомендации окулиста он носил солнцезащитные очки и капался специальными каплями, пытаясь выгнать из зрачков застывшую в них красноту и унять застрявшую в них боль. Будто кто насыпал ему под ресницы толчёного стекла. Впрочем, известно кто...

Раскрасневшееся лицо Аглаи скрадывалось приглушённым светом, на контрасте проявляясь яркой до рези в глазах, неестественно мертвенной белизной перекрашенных волос. Окосевшая от дрянного “Французского бульвара”, Наташка походила на снегурку, уставшую от конвейера новогодних утренников.

А ведь утренников ещё никаких и не было. Но, как говорил горбатый в известном фильме, баба сердцем чувствует. Вдруг она умолкла, словно на миг затаилась, а потом так глянула оглоеду в глаза, что тому нестерпимо захотелось подхватить её на руки и унести отсюда к чёртовой матери, туда, на улицу, в шампанские блики платанов, пронизанные морским бризом и гоном бульварной толпы. Впрочем, не время было и не место. Сейчас ничегошеньки поделать было нельзя, кроме того, чему должно было свершаться, то есть попросту ждать и терпеть. К тому же в комнате было слишком темно, и глаза оглоеда болели, и мало ли что могло примерещиться.

Косой сноп света валился из распахнутой балконной двери на игроков и на стол, доверху заваленный долларовой “капустой”. Живоглот опять проиграл и, гогоча, уведомил, что ему не везёт, потому что он боится щекотки. Живоглот проиграл много. Может быть, всё, что у него было с собой и в тяжёлом кожаном чемодане, который велел оглоеду нести за ним в номер вместе с видеокамерой, осветительной лампой и штативами для лампы и камеры. Ладно, деньги, но на кой чёрт живоглоду понадобились железки?

Барабас вдруг сказал, что, если так, то пусть вместо живоглота с ними сыграет Наташка. В другую игру. “Наташка, ты боишься щекотки?!” — выкрикнул он из-за стола. Наташка ответила, что не боится, но играть не будет.

Голос её прозвучал неожиданно спокойно, рассудительно. Живоглот молчал. Барабас выдержал паузу, переглянулся с Синдбадом, потом с Ицкой, а после упёрся взглядом в живоглота. Они сыграют с Наташкой тут, на кровати, сказал он. Игра будет посвящена всенародному празднику освобождения города от оккупантов. Всенародный праздник означает массовость. Они возьмут её штурмом, начисто вычистят все её катакомбы и щели от фашистских гадов и прихвостней. А взамен живоглот получит всё это *лавэ*.

Барабас, подхватив углы скатерти, ловко перевязал зелёную грудь узлами крест-накрест, обнажив под столом посреди спущенных до колен брюк и треников взмокшую, со съехавшим набор горничным чепчиком девушку Лизу.

А Наташка, совсем зардевшись, буркнула, что не будет играть. Или это портьера отсвечивала густой терракотой на её охмелевшее лицо? И тогда живоглот, не оборачивая своей красномясой башки с моржовыми складками на затылке произнёс: “Ты уже в игре, детка”.

Игра продолжалась часа два, из них почти полтора часа было снято на видео. Живоглот распорядился установить аппаратуру и снимать. Пригодилась и лампа, обеспечив нужный свет. Оглоед исполнял всё безотказно. Перед началом съёмки игроки по подсказке живоглота напялили себе на головы снятые с Наташки чулки, а после уже ни на что не реагировали, словно в комнате не было никого, кроме них и поглотившей их игры.

Сначала зрители оставались за столом: Ацкий продолжал есть и пить, Ицкая и оглоед пили виски и говорили, вернее, говорила без умолку Ицкая, оглоед слушал, и все трое неотрывно следили за игрой.

Ицкая завела разговор о Кипре. Оказалось, что она в теме по поводу казахского проекта и всех раскладов и перспектив. “Хлеба и зрелищ. Зрелище исключает участие”, — наконец, заявила она, взяла Ацкого за руку и, словно мать — нерадивого недоросля, повела в соседнюю комнату. Окликнула оглоеда, и тот послушно за ними последовал. Там они продолжили пить, и Ицкая, почему-то перейдя на шёпот, сообщила, что тоже будет на Кипре и планирует подгадать приезд к визиту Маноло. “Маноло?” — переспросил оглоед. “Да, Маноло Янковский-Диас. Слышал про него? Эти вот якшаются с ясеневскими... — она с гримасой презрения кивнула в сторону закрытой двери и пресыщенно, с надменной манерностью, процедила: — За Маноло — черкизовские, и чечены, и арабы. И американцы. А за черкизовскими — силовики... А это, я скажу тебе, сила. Крыши выше нету. Понял, мусор? Ты ведь шаршишь, я знаю...” И после паузы, совсем по-простецки добавила: “Я Маноло троюродная племянница. По матери”.

Залпом осушив стопку вискаря, она провозгласила: “Зрелище исключает участие!” — и направилась к дивану. Задрав юбку и стянув трусы, она уложила лицо на холёные руки и, выставив ослепительно белый, широкий зад, строгим тоном приказала Ацкому: “Возьми меня штурмом!” Жужа на ходу, тот принялся дисциплинированно исполнять приказание, ничуть не смущаясь присутствием постороннего. Кончив, он сухо, словно обглоданную кость, бросил оглоеду: “Теперь твоя очередь”, — и тот не посмел послушаться. Но тут в дверях показался живоглот и приказал сделать съёмку. Он был красный, как рак, возбуждён, говорил громко, брызжа слюной, перекиривая мычанье, крики и стоны, которыми исходил эпицентр игры. В мешанине нечленораздельных звуков чуткий слух оглоеда чётко фиксировал принадлежавшие Аглае, исторгаемые то ли страданием, то ли наслаждением.

Так было в Одессе, а потом, с вариациями, повторилось в Стамбуле. В съёмке участвовали Наташка и знакомцы живоглота, на этот раз турецкие бизнесмены. Желавшие поучаствовать в игре должны были дать согласие на видеосъёмку и внести живоглоту символическую плату: стодолларовую бумажку.

Живоглот был проворен и жаден до съёмок, за три дня в Стамбуле собрав почти четыре тысячи долларов и наснимав около тридцати часов видео на девяти кассетах VHS. Вернее, снимал оглоед. Распоряжения живоглота он исполнял безотказно, и с Наташкой держался спокойно и ровно, как с коллегой по работе.

Оглоед ещё на балконе одесской гостиницы “Лондонская” осознал, что живоглот воплощает некий продуманный план, замешанный на лютости, месть и жадности, призванный выказать во всей красе его, живоглотову, изощрённость и мощь: то-то, мол, будете знать живоглота!

Потом был Бодрум, где с вариациями повторились Одесса и Стамбул, только на этот раз знакомцами живоглота были деловые партнёры с Кавказа. А потом был пароход до кипрской Кириinei, и качка, от которой живоглота выворачивало наизнанку, и, сойдя, наконец, на турецко-кипрский берег, двое суток потом он отходил от морской болезни, а когда отошёл и вышел на прогулку, на пороге киринейской гостиницы его застрелили тремя выстрелами в упор, четвёртым — контрольным в голову.

Стрелявшего по горячим следам задержали местные правоохранители. Им оказался выходец из бывшего Советского Союза, младший брат застреленного нистрянскими убоповцами Абрека. Он прилетел в Никосию два дня назад, в Кириineiю приехал накануне покушения, за взятку местным пограничникам преодолев турецко-кипрскую границу с разобранным по частям и спрятанным в простенке чемодана пистолетом ТТ и патронами к нему. За три дня до рейса Борисполь-Никосия скрывавшегося от нистрянского правосудия в Херсоне младшего брата Абрека навестила пара — женщина бальзаковского возраста в сопровождении молодого человека. В чемодане, который имел при себе молодой человек, были видеомэгнитофон и кассета.

Плѣнка, которую они показали младшему брату Абрека, представляла собой видеозапись разговора, судя по скудной обстановке, сделанную, скорее всего, в служебном кабинете, по всем признакам, скрытой камерой. Того, что сидел лицом к камере, младший брат Абрека сразу узнал. Это был живоглот. Кому-то, находившемуся за кадром, он толковал, что, мол, сделал, как условились, что забил Абреку стрелку на восемь, возле ближнехуторской бани, и там его можно и встретить, как следует. Это было как раз то место, где Абрек пал смертью храбрых в перестрелке с убоповцами и бойцами СОБРа. А ещё младший брат узнал того, чей портрет висел на стене за спиной живоглота. Это был железный председатель ЧК, Феликс Эдмундович Дзержинский.

Смерть живоглота застала оглоеда в Никосии, куда он выехал двумя днями раньше на встречу с казахскими эмиссарами. Вернулся незамедлительно в Киринею. Аглая, как ему показалось, гибель душегуба восприняла странно. От приглашения оглоеда перебраться к нему в номер отказалась, ездила в морг и в местные инстанции по поводу свидетельства о смерти и прочих бумажек, необходимых для отправки цинкового гроба на родину убитого и после заявила, что сама его сопровождает до дома, а оглоед пусть тут разруливает.

Правда, деньги — целую кучу *лавэ* — они поделили по-честному, пополам. Перед отъездом она вдруг всполошилась, что забыла о главном, умоляла оглоеда уничтожить все плѣнки с Наташкой. Оглоед дал ей слово. Но слово не сдержал.

Как только Аглая с живоглотом в цинковом гробу отчалили из Кириinei, сюда приехала Ицкая с Ацким. Она убеждала оглоеда плѣнки не уничтожать, ради общего дела, суть которого — в интересе Маноло. “Маноло — вершитель мегапроектов, железный механик и воля его — стальная. Но сердце Маноло — из шёлка. Он сентиментальный вдовец, падкий до мелодрамы. Живоглот запудрил ему мозги своей Наташкой. Она полонила его никчѣмное сердце медоточивыми речами по телефону, влезла в его подсознание и там угнездилась, разъела его изнутри, как яд, как радиоактивный полоний. Маноло выклячил у живоглота фото Наташки, в том числе и ну в откровенных позах, и с ними не расстанется, наделал плакатов и постеров, обклеил свои хоромы и слышать и видеть ничего и никого не желает, а только вожаденную свою Наташку. “Всѣ прочее — гиль!” — кричит, словно в бреду бормочет, что в каждом мужчине живѣт порнограф и он ничего так не чаёт, как фривольные свои грѣзы о Наташке воплотить. Эти плѣнки — сбыча эротоманских мечт безумного старика (а телом, надо признать, железный механик бодр и по-мужски неутомим). Маноло согласится на всѣ, чтобы узреть эти плѣнки. А для Маноло в этом мире нет ничего невозможного”.

Тогда и узнал оглоед, что вся эта замутка с кино и видео, и играми в освобождение катакомб от фашистов и была затеяна живоглотом как подготовка козыря, лома, против которого у Маноло не найдѣтся приѣма, главного аргумента в грядущем базаре с железным механиком, всесильным в трансконтинентальных мегапроектах, но бессильным по отношению к своему мыльными пузырями исходящему сердцу.

Козырь и лом теперь были в руках оглоеда, и ему надлежало сделать свой ход. Ацкий в этот раз не швырялся обглоданной костью, а смиренно ждал в прихожей, пока Ицкая искала для оглоеда всѣ более веские доводы. Дока в этом деле, она их нашла. “Зрелище исключает участие, — жарко дыша оглоеду в ухо, твердила Ицкая. — Согласись! Согласись!” И оглоед согласился, поставив условие, что любые разговоры с Маноло вокруг и по поводу плѣнок он будет вести только сам, и плѣнки он никому, в том числе и Ицкой, не отдаст. В конце концов, он утвердился в решении, полноправно вступил в игру, сделал ход не мальчика, но мужа.

А потом, стоя в одних трусах на балконе, он пускал дым в непроглядную, солью пропахшую ночь, а та тяжело дышала в ответ мерным шумом прибора с набережной Кириinei. Оглоед думал о целине. И ещё — про Аглаю, про то, что сейчас их разделяли сотни километров, но дистанция между ними, та, которая обнулилась накануне отъезда на Кипр, вновь возникла

тогда, в одесской “Лондонской” и потом с каждым днём, с каждой отснятой кассетой неуклонно росла.

Теперь, имея в рукаве козырь, он чувял, что Маноло с казаками у него на поводке и их целину аж до самого небесного потолка заполнят его, оглоеды, прибыли. И Аглая на поводке, на самом коротком, и никуда от него не денется.

Так и вышло с нею потом, когда в сентябре он настоял, чтобы они, не откладывая, расписались, а в декабре она родила ему сына. Через два года после рождения ребёнка он тайно прошёл тест на отцовство, который подтвердил, что бронзовая призёрка не обманула: сын, действительно, был его, единородный. Но это уже было в другой жизни, где бронзовая призёрка превратилась в золотую, а оглоед стал не оглоед, а крупный бизнесмен и успешный политик, и чем дальше, тем крупней и успешней.

Тёплый киринейский ветер размётывал сигаретный дым, и если бы не эти сизые обрывки и клочья, могло бы показаться, что глаза залепило густыми кляксами иссиня-чёрных чернил.

Из тьмы покадровым видеорядом выпрастывался солнечный, в бликах платанов роящийся день — тот самый, когда жемчужина у моря отмечала очередную годовщину своего героического освобождения от позорного бремени именованья столицей губернаторства Транснистрия.

В расположенном на третьем этаже гостиницы “Лондонская”, роскошном, отделанном красным деревом номере было слишком сумрачно из-за терракотовых портьер на окнах. Оглоеду пришлось повозиться, выставив свет, но он справился, наладил видеозапись того, что происходило на огромной двуспальной кровати — *сексодроме*, и вышел покурить на балкон.

Поначалу он жмурился, реагируя на обставший его праздничный гомон посредством фиксации запаха проветренной бризом весны, вслушиваясь в галдёж празднично шатающейся толпы, надрыв динамиков, захлестнувших бульвар по самые верхи платанов брызгами размётанных бризом бравурных песен.

Накануне отъезда на Кипр через Одессу Аглая после близости призналась ему, что живоглот заставляет её заниматься сексом по телефону с его деловыми партнёрами. Не со всеми. С некоторыми, готовыми совмещать дела с игрой. Она должна ублажать их фантазии, потакать их прихотям. Все они, как один, по словам Аглаи, были конченные уроды и извращенцы. И живоглот такой же, конченный импотент. У него начали возникать проблемы с готовностью к сексу. Аглая ещё употребила слово “дисфункция”. Когда она по телефону ублажала его дружков, он заводился. Говорит, что это всего лишь игра, полезная для развития воображения, а ещё — возможность выказать друзьям особое расположение. И к тому же это важно для дела. Всегда, пока пыхтят и кряхтят ей в трубку, попутно и дела решаются с живоглотом и от его имени. Так что она в курсе всех живоглотовых замуток, да только тошно ей от этой мутоты. Да, тошнит её. У неё задержка, и это после того, их первого, раза, когда они барахтались в страхе и страсти, вцепившись друг за дружку, как потерпевшие кораблекрушение — за обломки, после того самого раза, который этот конченный гад исхитрился заделать на своё гадское видео, за который прикончил бы живоглот оглоеда, если бы Аглая не повисла на лапах душегуба, который переключился на неё и, высвобождая энергию смертоубийства, бил её ногами в живот...

Слова Аглаи, сказанные тогда, накануне отъезда, звучали в голове оглоеда так отчётливо громко, словно были записаны на скрытый диктофон, случайно включившийся здесь, на балконе третьего этажа гостиницы “Лондонская”. Её шепот гулко звенел в его черепной коробке, перекрывая праздничный шум, крики и стоны, доносившиеся из номера.

И тогда оглоед не вытерпел: открыл глаза и поднял их горе, выше платанов и ультрамарина одесского неба. Ослепительное сияние обьяли червонные и золотые всполохи. Погружаясь в него, оглоед вдруг осознал, что обрёл удивительную способность: не моргая смотреть на солнце.

Глава 5. Облако (Зебул)

*Очи у него загорелись в темноте ночной,
словно свечи; подняв морду на ветер, пу-
стился он волчьей скачкой по широкому
раздолью и вскоре почувствовал живность.*

Сказка, рассказанная Пушкиным

— — — Не представляешь, какая вонь стояла вокруг, пока мы собирали её кости. Балаур-Днестр не совладал с рыбой. Исторг её. Я совладал. Воздвиг рыбке священную остотеку, а над нею — платформу реальности. ЦИРК — это хаб, пуп системы, вбирающей информацию, генератор денег, которые — время. Кричат о виртуальности? Глупости. Мой сын, МС Наф-Наф Дога формирует вселенную, которая затмит вселенную Марвелла. Он устроитель праздника. Отныне ничто не может проистекать иначе, как через него.

Глупцы тщились повернуть реки севера вспять, к южным пустыням. Никто не догадался повернуть реку вокруг своей оси и тем самым замкнуть время на замок. Я догадался. И воплотил это в ЦИРКе. Вселенная — всего лишь книга, страницы которой автор населяет своими персонажами, исчерчивая её каляками-маляками сюжетных линий. Информация растёт и растёт, как дурная, книжица разбухает. Делать нечего, приходится что-то с этим делать. Сокращать, подчищать. И что такое энтропия, как не приращение текста, требующее неусыпной редактуры, то есть изымания лишнего? Ведь Адам был создан для называния имён, равно как и для ухода за эдемским садом. А что такое садовник, как не редактор? И не есть ли секатор — орудие чистки, изымания веток и паветви? Сатана посрамил горе-садовника, поспособствовал низложению того из редакторов в персонажи, тем самым вернув себе статус редактора мира сего. Что скажешь?

— Письмо — это собрание. Когда книга написана, её свивают в свиток.

— — — Ты прав в одном: все ипостаси важны — персонаж, редактор, конечно же, автор (куда без него!). Но есть и наиважнейшая. Того, кто появляется из-за кулис втихую, никем не замеченный, когда все уже отблестало на сцене, когда фанфары и аплодисменты отгремели и занавес опустился, дав понять, что история завершилась. Свиток запечатывает переплётчик.

Я связал заветную реку узлом. Мы переименуем Парадизовск в Теляпинополь, Рыбницу — в Палиополь, а столицу перенесём в Валя-Зебулуй, на то самое место, где мглисто-зелёный балаур-змея выплюнул нистрянскую палию с позвонками в человеческий рост и размахом плавников, как у крыла “кукурузника”.

Здесь будет берег Зебулова моря. И Белгород-Днестровский станет городом без Днестра, Аккерманом без кармана, ибо небо опрокинется в воды и свернётся в трубочку. И все окрест — от Одессы и Килии до Комрата и Кишинёва — на коленях приползут к владыке Зебулу с одной только просьбой, с молением: утолить нестерпимую жажду. “Пить! Пить!..”. Пусть тогда говорят с МС Наф-НафДогой, ибо он устроитель праздника, и отныне ничто не может проистекать иначе, как через него!

Вот ты утверждаешь, что повесть — то, что следует после вести. То есть всё последующее — удел констатации и свидетельства. Пойми же: зло окончательно и безоговорочно побеждено. Тьма завоевана, труп её помещён в основание ЦИРКа. Нистрянский монстр сокрушён, драгоценные его кости покоятся в остотеке гиперолоида. Тебе дано будет узреть сокровенное из ковчега завета — скелет исчадия ада. Отныне остаётся одно: добро, безраздельно-безбрежное море блага, которое посредством гиперолоида завоеует весь мир.

— Тому, кто вступит в схватку с МС ЦИРКа, уготовлено умерщвление?

— — — Глупости... Обычный проигрыш. Бой — часть рекламной кампании, маркетинговый ход. Стартует масштабная кампания пропаганды команды супергероев во главе с Гильермо. Большие надежды разработчики

* Хаб — магистральный узел сети, сетевой концентратор. От англ. “hub” — ступица колеса.

возлагают на сегмент компьютерных игр. Наф-Наф Дога формирует свою стриминговую платформу “DOGA-flix”! Звучит? Да! На паях с америкосами, и латиносы в доле. В отдельном сегменте платформы — разработка на основе сюжета компьютерной игры. Это будет покруче, чем какой-нибудь Супер-Марио. Основная траектория продвижения — через мобильное приложение “DOGA-ДОПОМОГА”. “ДОПОМОГА” бьёт все рекорды освоения рынка. Предмет особой заботы Наф-Наф Доги, возится со своим стартапом, как дитя со щенком. Не знаю, почему сына так прикипел к нему. Ну, и ладно, пусть тешится... Прав оказался и прозорлив! Что касается боя за пояс супергероя Гильермо, речь идёт о сотнях миллионов. Пока — в мексиканских песо. Но только пока. Дойдёт и до американских долларов. Тут — к гадалке не ходи. Вопросом занимаются дошлые люди. Ты уступишь в схватке, но получишь сполна.

— Доля в проекте?

---- Глупости... Доля — это слишком жирный кусок за возможность огрести по солям. Твоя ситуация много проще: не до жиру, быть бы живу. Ты получишь свою долю славы, ибо проиграешь Наф-Наф Доге, всесветному завоевателю, сжимающему в тисках ЦИРКа и не-ЦИРКа самый кадык мира сего. Погоди... Ты зачем это сделал?

— Что?

---- Показал мне кукиш. Фигу, шиш...

— Думал, ты не увидишь. Тут неважное освещение. Тёмные очки у тебя на глазах...

---- Ты говоришь неправду...

— Хорошо... Ходят слухи, что ты безглазый.

---- Слухи... Да, я незрячий! Но я вижу. МС Дога — мои глаза. У меня много глаз. Мне сообщают. Прямо сейчас, online.

— Но та, что меня сюда привела...

---- Клодия? Нашёл, кого слушать. Она баба умная, но живёт чужим умом, и когда берётся вести, часто водит за нос. Ибо баба. Да ещё связалась с железным механиком, известным хитрецом, а ведь, как говорят, с кем поведёшься, того и наберёшься.

— Ты сам отдал её архитектору.

---- Отдал? Все мои чаяния были о сыне, и она произвела Наф-Наф Догу на свет. Исполнила функцию. Все мои чаяния были о ЦИРКе. А построить гиперболоид мог только такой великий безумец, как Маноло. Безумие его того же рода, что и бессмертие Кощея, державшего смерть свою в ларце на дистанции, как в банковской ячейке.

Ум Маноло хранится у Клодии между ног. Он с первого взгляда, как увидел её, сделался от неё без ума. Мне нужна была башня. И я уступил ему Клодию. Не пожадничал. Ибо в завоевании мира сего, широты его, долготы и глубины, и высоты наиглавнейшая, самая высокая мечта — высота. А ведь это была не пощёчина, не рубаха, не поприще, ибо — мать моего дитя. Вернее же — и рубаха, и поприще, и пощёчина. Ибо баба...

Поднимается ли тростник без влаги? Растёт ли камыш без воды? И башня выросла из хляби речной. Не так ли и князь Блатнограда поднялся из болотной грязи? Из смрадных недр нистрянской щели родился миру богатырь... Ты был когда-нибудь в Кицканах?

— Зачем ты спрашиваешь?

---- Негоже вопросом отвечать на вопрос. Неуважительно, не менее, чем выказывать собеседнику кукиш. В Кицканском монастыре, в притворе летнего храма, расписанного когда-то учениками автора “Трёх богатырей” Васнецова, есть фреска, диптих “Святая Троица”:

— Может, СТАТЦА?

---- Что?

— Так, ничего...

---- Одна часть: Бог Отец с Духом Святым в образе белого голубя. Вторая: Бог Сын, гибнущий на кресте. А ведь, если вдуматься, первая фреска и есть образ автора: седобородый старик с всклокоченными волосами и бесильно опущенными руками. Страдание на челе Ветхого Денми объясняется

просто: прямо у него на глазах, в образе Сына человеческого умирает Его едиnorodный Бог Сын. Обе части расположены на купольных сводах друг против друга так, что сидящему на северной фреске Отцу в мельчайших подробностях, как из царской ложи, видно, что происходит прямо напротив. Скорбящие ангелы тщетно, словно потревоженные ласточки, снуют вокруг Отца и вокруг Сына, распятого на кресте.

Их роящееся присутствие — единственное, что связывает оба изображения, разделённых дистанцией в несколько десятков шагов, непреодолимой для всеильной мощи Создателя и Творца всего сущего. И ещё — текст, старославянские надписи, предпосланные частям диптиха, словно субтитры диафильма — картина, высвеченные на стене лампой чудесного фильмоскопа.

“Тако бо возлюби Бог мир. Тако и Сына Своего едиnorodного дал есть. Иже убо Своего Сына не пощаде. Но за ны вся предал есть Его...”

Теперь тебе ясно? *Предал есть!* Есть мера предательства, сопоставимая с этой?

— Но в старославянском изводе...

--- Давай без базара и прочих разводов. А то, не ровён час, опять заплутаешь. Ты чё, Плутарх? Ха-ха!.. Не вступай в напраслину спора. Особенно, когда дело касается слова Зебула. А впрочем — вступай. Слова — моя слабость. Шибко долго мой внутренний взор устремлён был долу, на числа, увязшие в нистрянской трясине низкой жизни. Тому, кто вышел из цифр, как из моря, игра слов — отрада. Хочется поднатаскаться, поднатореть. Надмирие гиперболоида сподобило подвизаться в возвышенном. Открою секрет: мир спасёт не красота. Мир спасёт высота: герой, явившийся миру из смрадных недр нистрянской щели... Суть в том, кто кому уготовлен в пищу. Я сам отдал мир на съедение МС Доге. ЦИРК не более, чем дудка, замастыренная Маноло из композитов и стали. Мой сына, Господарь Всенародного праздника, слагает слова в ряды. Он, свет очей моих, вершит мою волю, дудит, ряды за рядами зазывая в Море любви. Так работает “ДОГА-ДОПОМОГА”, приложение, чья функция — спасение.

— Спасение? А как же цыганский омут?

--- Функция иногда даёт сбой. Никто от погрешности не застрахован. Но погрешность и грех — одного корня. И — страх и страховка. Каждый находит то, что искал. Повседневность не что иное, как расстояние между буднями и праздником. Или, как сказал один очкарик, между тем, что с тобой происходит, и твоими планами. И дистанция эта, как правило, абсолютна. Чудо — всего лишь исчезновение этой дистанции. Даже Ветхому Денми Создателю всего сущего подчас невозможно преодолеть расстояние в десять шагов.

МС Дога простёрся над пространством, обнулив тем самым и время. Дудкодав рад стараться, и мир зашевелился. Он вынужден ступать, совершать поступки. И теперь никуда ему не деться. Тот, кто начинает действовать, разоблачается и потому заведомо обвинён, ибо лишается самого главного, что помогает избежать суда, — алиби. Сбыча мечт обеспечивается голограммой? Ну и что? Исполнившись, грёза изливается через край.

Я взял реку за оба конца и связал узлом, и концы эти — пространство и время. Не будет отныне реки, будет цепь великих озёр — Рыбничанское, Дубоссарское, Парадизовское. Цепь здесь — главное слово, ибо Балаур-Днестр посажен будет на цепь и взят под замок.

Не в этом ли исполнение наказания, предуказанного ещё со времён Эдемского сада. Змею должно не разглагольствовать с Евой, а держать свой хвост, как кость, в собственной пасти, тем самым храня вход в Эдем на замке, оцепляя его на манер огорода.

Беспомощность автора — вот что больше всего поражает в эдемском сюжете. Он не может себя обнаружить, он сетует, иронизирует, наконец, негодует, не в силах повлиять на перипетии, нарастающие снежным комом. А, казалось бы, откуда в Эдеме взяться снегу?

— Из воды.

--- Да! Воды достало даже на то, чтобы на корню уничтожить первую редакцию рукописи. Оригинальный способ был выбран автором, не правда ли?

— Автор выбрал воду, ибо ведал: рукописи не горят.

— Автор всеведущ. Вопрос ведь в бинокле. Театральном, на оси. Есть тот, кто смотрит, и тот, за кем смотрят. В бинокль смотрит не только зритель, но и режиссёр, тот самый Карабас-Барабас, который на репетициях и прогоне домариновал труппу до состояния трупа бесконечными поправками и придирками, срывами и излияниями гнева. И вдруг на премьере, отложив инструмент с цейсовскими линзами на бархатную сидушку, режиссёр самолично выходит на сцену, своей игрой в главной роли самоотверженно спасать постановку.

А на сцене не то, что в укрытом пологом сумрака ночи зрительном зале. Тут и в саду, как на юру, и сюжет, оборот, берёт в оборот, изгаляясь, орёт: “Автора! Автора!” — и тащит на лобное место.

— В детстве игра была: “от ворот до ворот”. Ударишь коряво, пыром, и мяч улетит в огород, за соседский забор, а друзья будто только и ждут, хором кричат: “Автор — за произведением!”

— А вот ещё сюжет по теме “Автор — за произведением!”: переписка жены гения Пушкиной Натали и убийцы её мужа. Натали со своим визави, исполненным чёрной крови, объясняется по лекалам Лариной и Онегина. То есть, она играет по сюжету романа в стихах, как по нотам, написанным композитором-мужем. Вернее — живёт в сюжете, словно создание солнца русской поэзии. О, Наташка! О, Огола, о, Оголива!.. Александр Сергеевич угодил в великую западню: сам оказался персонажем собственного произведения. Он вынужден был нарушить главную заповедь автора — его вменяемость — и вести себя, как персонаж, то есть действовать.

— Если ты сумел прочитать, следовательно, сюжет уже был записан. Чёрная кровь развратников и палачей — в январской воде Чёрной речки. Об этом — у другого автора, обогрившего, по следу Пушкина, кремнистый путь красностопом праведного кровоточия. Этот знак пунктуации означает, что сюжет не закончен.

— Чёрного кобеля не отмоешь добела? Ещё как отмоешь. Или ты не знал, что ЦИРК — это прачечная? Цепь великих озёр, Зебулово море, в сердце же неизбывным водоворотом — ЦИРК. Ну и что, что дурная, зато бесконечность, соскабливает всё до пятнышка. В круговращении Эльгыгыт-гын обращается в Галилейское море.

Вышедший из моря финансов море создаст и населит его муштом — собакомордыми рыбами. Они будут кормиться с руки, принося хозяину в своих няшных пастьях золотые статиры в обмен на лакомство. А прочие пусть хлебают из черноморовой лохани.

Воды Чёрного моря вовсе не так солонны, как кажутся. Или ты не знал, что свободная стихия, что с тяжким грохотом подходит к волнорезам Одессщины и дофиновскому изголовью — это хляби потопа, собранные Чорномором в одно? В черноморской пучине слишком мало соли, потому она и гниёт, пучась от сероводорода — продукта разложения органики. Или то вонь греха, в котором закоснела через то обречённая гибели допотопная живность?

Зебулово море раскинется широко, до края наполнив Нистрянскую кану, сладкие волны его поглотят Кицканский лес и урочище Калагура. Всё случайное будет стёрто, останется, соответственно, несчастливое. Ново-Нямецкий монастырь избежит затопления, ибо он стоит на господствующей высоте — Кицканском плацдарме. А ну, как, не велеть ли запрячь один из прогулочных катеров или катамаранов и помчаться, обдаваемым брызгами, от Валя-Зебулуй напрямик к монастырю, причалить близ монастырских стен и посетить летний храм.

— Зачем?

— Сеанс просмотра диафильма. Ты знаешь, что такое фильмоскоп? Типа как телескоп, микроскоп. Только лучше. Говоря современным языком, гаджет: устройство для просмотра диафильмов. Черда картинок с субтитрами.

— Я знаю...

— Картинки, которыми ученики Васнецова украсили стены летнего храма... Там Спаситель в руке держит книгу жизни. Мне видится, что диафильм

ближе всего к форме и содержанию этого свитка. С одним уточнением. Чем заканчивается каждый сеанс просмотра диафильма? Тем, что плёнку сворачивают обратно в трубочку, достаточно плотную для того, чтобы она уместилась в специальной цилиндрической коробочке для хранения плёнок. Трубочка — тот же свиток, плотный и непроглядно-чёрный, как воды озера Эльгыгытгын. Книгой смерти — вот чем всё заканчивается.

— В детстве родители крутили мне картинки с субтитрами. Все диафильмы всегда заканчивались одинаково: в комнате включался свет.

— — — Картинки с субтитрами — это мир супергероев. Всесветная слава стала бременем для МС Доги, а должна стать функцией. Я всегда воспитывал его власть и право имеющим. Он молод ещё, не вчувствовался в дарованное ему благо. Вроде слился в одно со своею Лианой, а нынче и Зебулиана ему наскучила. Бедная девочка... Жаль её. Обращается с нею, как со швалью, подстилкой, ноги об неё при всём ЦИРКе вытирает. А та терпит, сносит его издевательства и даже побои. Благо, шоколадная кожа скрывает синяки. А этот поросёнок что удумал! Покусился на немислимое: объявил хозяйкой своего сердца Чёрную Госпожу! Воздыхания в средневековом рыцарском духе, но только на новый лад: пишет вирши в её честь и хвалу, с непристойными намёками, кургузными скабрёзностями и даже похабщиной. Всё бы хорошо, да только Чёрная Госпожа, как выяснилось, вовсе не барбадосская принцесса, что оплела Наф-Наф Догу и льнет, а владычица мира сего — супружница первого лица сверхдержавы, простёршейся от Атлантики до Тихого океана. Мы с матерью не знаем, что думать и делать!.. На закрытой вечеринке в Лос-Анжелесе у крёстного отца Снуп Дога вирши свинёнка и его самого якобы представили не кому-нибудь, а дочке первого лица! Ладно бы дочка, любому бы достало и этого выше крыши и сверх меры. А этому поросёнку мало!.. Кропает альбом под рабочим названием “Желанье Меланьи”. А ведь имя “Меланья” означает “чёрная”. Чёрная хозяйка Белого Дома! Забавно, не правда ли? Только нам с матерью не до смеха. Оказалось, что первая леди благоволит к чернокожим рэперам (хотя вроде бы, по их заокеанским раскладам, должна бы, наоборот, не благоволить, поскольку чёрным и прочим цветным благоволят демократы, то бишь идейные и политические противники первого лица и по смесительству её супруга). Вот и мы с матерью не знаем, что сказать... Они же там все поделены: Запад — Восток, слоны — ослы, сенаторы — конгрессмены, республиканцы — демократы... Зачем соваться в их кухню и разборки? Своего навоза мало? К тому же, это чревато. Хотя чёртов сукин сын всё-таки дерзновен! МС надмирного ЦИРКа и не-ЦИРКа вправе обладать всем, что ни пожелает. Но чтоб этакое отчебучить?! Всё-таки супруга первого лица сверхдержавы — это чересчур. Хотя чем чёрт не шутит? Хотя вот друзья мои лучшие Сбоков с Припёковым успокаивают, подзадоривают: мол, ничего нет нового под луной, въздыхал же, мол, советский поэт Вознесенский по Жаклин, первой леди заокеанской сверхдержавы, кропал ей вирши ещё в бытность живым супруга её Джека Кеннеди. А как схлопотал бедняга Джей-эф-Кей пулю в затылок, так у Вознесенского с миссис Джеки О вообще понеслось. Траур, говорят, шёл чёрной вдове не меньше, чем розовое платье, забрызганное в Далласе кровью первого лица... Впрочем, нет... Надлежит показательно сбить с поросёнка спесь. Надо дать ему взбучку, чтоб почувал края, одуплился, осознал, что его миссия не ого, а ого-го! Зебулианы чтеца, на дуде игреца, Господаря Всенистриянского праздника! Вот намылился поросёнок нынче во Флориду, на тусовку селебрити, с рэперами, отпрысками конгрессменов и республиканцев и прочими голливудскими шмарами. Так якобы первая леди через дочь, неожиданно выступившую конфиденткой дамы сердца, в данном случае — собственной матери, благосклонно откликнулась на демарш дерзкого въздыхателя. Прихлебатели из свиты передали отпрыскам республиканцев, те — отпрыскам конгрессменов, те — голливудским шмарам, те — Снуп Догу, а тот, соответственно, — в ЦИРК, въздыхателю. Особливо, мол, чувства супруги первого лица тронули вирши всенистриянского трубадура, мол, стихов ей за всю её жизнь никто не писал, а тут...

Нет, нужен супергерой или, если угодно — гиперборец. Чтобы выбить всю дурь из наглой его башки. Ибо не пойман — не зверь. Тут ты и объявишься, и выйдешь, знатный зверолов в роли Гильермо. Этот же никого не хочет слушать. Наф-Наф Дога хочет, чтобы его слушали. Хорошо, погода внесла коррективы. Во Флориде все тусовки и вечеринки отменены. Штормовое предупреждение. Надвигается ураган. На Карибах готовятся, ждут, как второго пришествия, и, соответственно, на материке. А мы как с матерью рады! словно вняла погодка нашим с матерью просьбам, чтобы не пёрся через Атлантику недоросль *на ловлю счастья* и неизвестно чего. Ох, уж эти детки в клетке! А как быть отцу, коли сам отправил дитё своё в завоеватели мира сего, да ещё наказал: “Ешь его! Ешь!” Всюду, вишь, кровь и родство: Ленин в отместку за брата заварил революцию, Сталин восполнил недоданную ему в детстве материнскую ласку, обернувшись в бурку пастыря и отца народов. Но из чьих шкур были скроены те ризы кожаные? Сатана, искушая Иисуса в пустыне, не от ревности ли сыновней твердит, как попугай: “Если ты Сын Божий?..” Он ведь считал Христа самозванцем и имел основания, а проверить, так ли это наверняка, был один только способ... Всё, вишь, упирается в родство и единородство. Нет, Наф-Наф Дога заелся. Нужна сыне встряска. Поединок — чтобы вправить ему мозги и собрать его воедино.

— Ты ошибаешься на мой счёт. Я не супергерой и тем более не гиперборец, а тварь дрожащая.

— — — Ошибаешься? “Шибаешь и ешь” — так надлежит поступать хищнику! Страшишься? Правильно делаешь. Страх — это благо. Я сам всю жизнь боялся, зато теперь вот где...

— Где? Во мраке?

— — — Всё во мне разоблачено. ЦИРК — око в глазнице Зебула Всевидящего. Открою тебе секрет: наблюдать за событиями — уже влиять на них. События выстраиваются определённым образом именно из-за тайного зрителя, о котором события знать не знают и ведать не ведают. Того, кто поглядывает в щёлку. Насчёт тебя всё ясно. Не бойся своей боязни. Она сохранит тебя, когда выйдешь на бой с Наф-Наф Догой. Тайна в том, что ЦИРК — лишь видимая часть айсберга. Сферы невидимые сотворены страхом. Там, в черноте темноводья, бесконечность, и она ледовита. Там нет различия между явью и сном, и непонятно, когда ты видишь сон, сложный, многоходовый, а когда бодрствуешь, потому что остаётся только эта многоходовость. Только схема и никакого содержания. Пустынные закоулки...

— Клодия оказалась права...

— — — При чём тут опять эта баба?

— Ты оказался недалёким. Ты повёлся, Зебул. Мой страх был приманкой. И ты на неё клонул.

— — — Хочешь сказать, что имитировал свою дрожь. Ты сыграл свой страх? Разве это не в духе супергероя — контролировать свои эмоции?

— Это не игра. Зверя нельзя обмануть. Всё должно быть взаправду. Дело нехитрое: неумная мера скверного вина повышает давление. Давление повышает уровень адреналина в крови в количестве, достаточном, чтоб привлечь внимание хищника.

— — — На ловца и зверь бежит. Ты пришёл забрать мою жизнь?

— Так обычно случается с героем истории, возмнившим себя переплётчиком.

— — — Уж больно жалок твой замысел. Смысл включать свет, если я его всё равно не увижу? Картинки с субтитрами будут чередоваться до тех пор, пока тот, кто таится во тьме, не прикажет: “Харэ”.

— Жалость замысла не есть ли наивысшая степень его величия? Потерянный рай — это сад, лишённый одной только буквы, никчёмного словоерса. Но без этого никчёмного скола сад превращается в ад. Создатель произведения радел о венце воображения — о потерянных перенцах. Он ради них покидает авторскую ложу и становится главным героем, вызволяя заветных своих персонажей из преисподней неволи. Утроба змия взята в замок намертво сомкнутой пастью. Величие замысла в том, чтобы заставить чудовище

открыть пасть. А добиться этого можно только одним способом: предложить зверю наживку. Слово, облечённое плотью.

— — — Твой ответ на дуэль: кукиш? Я-то думал: услышу речь не мальчишка, но мужа. А что мы видим: вместо кумира мексиканской пацанвы, супергероя Гильермо, какой-то жалкий аксолотль.

— Аксолотль?..

— — — Мексиканская водяная собачка. Наживка для зубастой пасти.

— Правда, что твоя собака ушла с волками?

— — — Это было давно... У меня большая коллекция носителей. Залежи на стеллажах! Всё по старинке: диафильмы, кассеты VHS. Но плёнок на эту тему не сохранилось. Всё, что носители не несут, не является правдой... Уши добермана, когда он видит жертву, похожи на крылья летучей мыши: ужас, летящий во мраке ночи. Я сам стриг уши своей собаке. Цыгане украли её и отвезли в Волчинец. Там одна ведьма держала волка, вязала его с овчарками, а щенков продавала сорокским цыганам. Не знаю, кому из них пришла в голову идея повязать волка с доберманихой.

— И чем всё закончилось?

— — — Ничем. У неё началась течка. Они сманили её со двора жалкой дворняжкой, кобельком. А в Волчинце ничего не вышло. По всему, у неё уже закончились её дни, благоприятные для вязки. Она была крупная и очень сильная, и первая накинулась на волка. Он её загрыз насмерть, но она успела оторвать ему лапу. Зверюгу пришлось пристрелить. Всех их потом нашёл. Я ведь сам был легавый. Кроме волчатницы. Та успела уехать. Её нашли позже. В Финляндии... Она и сейчас сводит волков с собаками. Но с тех пор ни разу не брала для вязки суку добермана. Лучший выводок — от вязки волка с овчаркой. У меня их несколько. Охрана Зебулариума. Бесшумны настолько, что даже я не слышу их приближения. Что говорить о прочих. Скрытны настолько, что, как ни старайся, их не обнаружишь. До того мига, когда это понадобится. Беспрекословны. Они здесь и сейчас. Стоит только мне свистнуть, и мои безотказные рексы примчатся исполнить малейшую прихоть их повелителя. Не есть ли человек со свистком — наиболее полное воплощение замысла о мыслящем тростнике? Когда явятся те, кого я призову, ты не просто осознаешь, а прочувствуешь до мозга костей, что зря ты выказывал дулю в знак явленного неуважения. Именно — до самого мозга костей, ибо это самое лакомство.

— Уважение и справедливость творятся страхом. Но жалость больше уважения, а милость выше справедливости. Есть и то, что шире, и дольше, и глубже, и выше...

— — — Нет ничего. Имеешь глаза — иди и смотри в око ЦИРКа. Увидишь, во что оборачивается тростирие. Или ты, недалёкий, забыл, что система координат начинает свои заржавелые оси с ноля — безраздельного и беспощадного? А ведь ноль в основание положен не кем-нибудь, а самим крысоловом, который обосновал наличие мысли в тростнике.

— Нет ничего? В рисовании дракона последним и самым главным должно быть изображение глаз. Конечно, ноль, безраздельный и беспощадный, но — лишь для того, кто пребывает во тьме и ни черта не видит.

— — — Не иначе, эта баба взяла тебя в оборот. Я же предупреждал, что Клодия, когда берётся вести, водит за нос. К тому же она набралась театральных замашек у своего композитного старпёра-муженька. Маноло — шут гороховый — возомнил себя Пигмалионом и ломает комедию, потешая весь цивилизованный мир, ЦИРК и не-ЦИРК, своими мыльными эскападами. Но Пигмалион был царём, а Маноло — не царь, он всего лишь механик, хоть и железный. Он всего лишь архитектор, построивший башню, зодчий холоп, воплотивший господарскую волю. Старпёр, ветхий денми. Одно слово: Маноло — минуле. Правитель — Зебул, повелитель пространства и времени, завязанных в узел на спине простёршейся ниц Нистрени.

— Может СТА ТЦА...

— — — Ничего статья не может иначе, как через меня и Наф-Наф Догу.

* Минуле (укр.) — прошлое.

— СТА ТЦА — это Троица Живоначальная, собравшийся под титло образ первого предложения: “В начале было Слово”. Предвечный совет есть зримое воплощение замысла. И сей промысл Божий был прежде, чем создан был Адам; прежде, чем был он сотворён по образу Создателя и подобию. Сказал Отец Сыну: “Сотворим человека по образу нашему. И отвечал другой: “Сотворим, Отче, и он преступит”. И ещё сказал: “О, едиnorodный мой! О, Свет мой! О, Сын и Слово! О, Сияние славы моей! Если ты печёшься о создании своём, подобает тебе облечься в тленного человека, подобает тебе по земле ходить, апостолов воспринять, пострадать и всё исполнить”. И отвечал другой: “Буди, Отче, воля Твоя!” И кана с винно-чермной агнчей головой, что стоит на предвечном престоле, — это чаша Гефсиманского сада и братина Судного дня, что будет поставлена на престол, уготованный претворять праведную кровь поэта в вино неизбывного пира.

— — — Твоя “живоначальная статья” не что иное, как видимость, схема Штучки.

— Схема штучки?

— — — А ты не знал? Недалёкий ты воображала. Да, та самая плутониевая бомба импловизного вида, которую рванули америкосы в пустыне Аламогордо в рамках проекта “Тринити”, в переводе на нашенский — “Троица”! По-ихнему — “Гаджет”. Штучка была импловизна (обожаю всякие подобные словсерсы! Имманентно! Импловивно!). Смекаешь? Перед тем, как ухнул большой взрыв, родивший ядерную поганку размерами с мега-ЦИРК, был ещё один, махонький такой, размерами вот почти как твоя Живоначальная. Схема, которая сработала в приспособлении за миг до атомного взрыва, была импловизна. Заряды срабатывают одновременно, с помощью взрывных линз направляются в центр, воедино. Пустота разрушения наполнила чашу. Не это ли символизирует обгарённая баранья башка на доске в Третьяковке? Важно только одно: чтобы Штучка рванула, нужен процесс досборки. Нужен некто, кто выполнит операцию взведения. Понятно? Это в моей воле. Открою тебе секрет: излюбленный удушающий Наф-Наф Доги — *гильотина*. Всё, что с тобой может статья, — это канвас, по которому ты поступишь ладошкой. Поверь: в твоём случае это будет жест художника. Ты, как истовый богомаз, коснувшись холста, изобразишь поединок. Но не мешкай. Иначе — уснёшь. Э, постой!.. Ты куда?

— Было сказано: не мешкай. Было сказано: иди и смотри...

— — — Из ЦИРКа нельзя так просто уйти! Стоять!.. Где, чёрт возьми, мой свисток? Кто здесь? Сына? Отзовись. Не вижу тебя...

эльгыгытгыньэльгыгытгынь

тятя та ть тятя та ть тятя тать

Глава 6. В сугробе

Волга впадает в Каспийское море.

Учитель словесности

“А вы, нистряны, теперь уже не паны, и ваш господарь не то, что встарь...”. Далеко слышна песня с высоты стены, что растёт не по дням, а по часам. Кладёт каменщик ряд за рядом, подмастерье споро подаёт кирпич за кирпичом, для крепости раствора, замешанного на яичном желтке, добавляет песню. Изредка, словно лезвие ножа — холстину, прорывает песню голос. Это зодчий Маноле отдаёт распоряжения своим мастерам и работникам. Всеведущ и требователен прославленный зиждитель, смышлёны и опытны девятеро зодчих да двенадцать рабочих, до пота стараются под цепким взглядом вожатого.

Подымаются стены колокольни. Станет она на холме, над лесами урочища, над окрестными сёлами, великоленная и пышная, в прославление Негру-водэ, могучего хозяина этих мест.

Кто сумеет украсить обитель по замыслению господарскому, на заглядение всему свету, чтобы до скончания века поминали всесильного господаря, да не Чёрным Правителем, как нынче шёпотом кличут на рынках да

площадах, да в потёмках саманных хат, а Великим Господарём Черноводом, строителем храма с удивительной миру башней-звонницей?

Не сыскать такого умельца в целом свете, ни в Украине, ни в Мунтении, ни в Залесье диком, ни у польских панов.

Нет нужды Черноводу рыскать по свету в бесплодных исканиях. Есть в нистрянской земле прославленный мастер, что может вознести колокола на такую высоту, что сам Вседержитель будет внимать малиновому звону, что наполнит землю и небо славой всевластного господаря.

“А вы, нистряны, теперь уже не паны, и ваш господарь не то, что встарь...” Хорошо слышно песню, слетает со стены касаткой, стелется по округе шитым покровом. Ладно поёт юный помощник каменщика Костикэ. Хоть и ходит он в подмастерьях, а пользуется в артели уважением за свои песни. А ведь недавно совсем был Костикэ пастушком, пас овец да дудел в свою костяную дудочку.

Спускался господарь вниз по Днестру вместе с мастером Маноле, зодчим и кучей народу, искал место, чтобы поставить свой храм с колокольной на зависть миру сему. Услыхали в пути дудочку, вывела она к пастушку. Спросил его господарь, не знает ли он в округе место достойное. Повёл пастушок господаря и Маноле в чащу. За лозняком, за дубами, кустами и чертополохом открылся им холм, а на нём — развалины древней обители.

Черновод огляделся с холма, подумал и приказал Маноле, зодчим его и работникам, чтобы, не мешкая, возводили здесь храм Вознесения, доселе невиданный, с колокольной, что затмит задужбину, какую некогда, в незапамятные времена ставил Душан Сильный, а ныне звонницу царя-москвиты, на память нистрянам и всему свету, чтоб молиться там.

Сказано — сделано. Привычно составил Маноле план в уме, заветной верёвкой отмерил и изготовил трости, разметил основу, и дело закипело.

Знает Костикэ песен великое множество, и каждой находится место на отдыхе, когда делят по-братски мастера и подмастерья принесённые жёнами брынзу и мамалыгу, а за ужином пускают по кругу ковшик с вином.

Если песня слышна на строительстве, будто заступает она на место самого вожатого, соразмерно и сообразно составляет труд каждого в отдельности и всех вместе. Знай, поглядывая да подсказывая, не мешаясь без лишней надобности в согласный порядок.

Но не знает вожатый роздыху. Невесел Маноле, зорко следит за каждым движением своих мастеров. Ведаёт он, как лют на расправу всесильный его заказчик. Коли выйдет храм негож, не по нраву придётся Черноводу, сначала зодчим руки отсекут, потом головы снесут, а после обрубки псам швырнут.

Видит Маноле, что ладно песня влагу льёт, да неладно кладка идёт. Сам следил вожатый, как замешивали раствор, да, видно, не досмотрел. Трудятся зодчие, пот градом катится по лицам рабочих, а вожатый их всё мрачнее. Недоволен, как держится кладка, чует сердце Маноле, что придётся от господаря несладко. До вечера стараются зодчие что есть мочи, а как солнце зашло, вожатый их сделался чернее тучи.

За ужином общим мастера шутки шутят, Костикэ песни поёт. Один вожатый угрюм, мясо не ест, вино только пьёт да не пьянеет, тяжкую думу думает. Прямо у костра сморило Маноле, и привиделось ему, будто на недостроенной их стене фергом вертится немчура, словно кукла, какую он видел один раз в Кракове в рыночном балагане. Говорит немчура мастеру: “Сколько ни трудись, сколько ни страшись, а голову тебе не сносить и зодчим твоим. Всё равно вперёд дело не пойдёт, пока не вмуруешь в стену глухую женщину живую, твою или зодчим твоим жену родную!”

Проснулся Маноле, словно выскочил из бездонного омота на берег, и тут же, у костра, артели своей поведал вещей свой сон. И молвил, что не построить храм Черновода для моления миру сему на удивленье, пока не исполнят они вешего предуказания, но сохранить надо перед жёнами их молчание и поклясться в том на иконе солью и хлебом, жизнью и небом.

И взяли икону, и поклялись Маноле и девять зодчих, и двенадцать рабочих солью и хлебом, и жизнью, и небом, что каждый, как придёт домой, жене ничего не скажет, и та, что первой встанет, по росе в тумане и раньше

к ним придёт, ту стена глухая и ждёт. Хоть клялись на иконе, но данное слово оказалось, как плохая основа раствора для кладки. Каждый, вернувшись домой, клятвы своей не сдержал, жене своей наказал: коли хочешь видеть белый свет, утром тебе к колокольне дороги нет!

Вся артель разошлась по домам на отдых, чтоб почитать, сил на завтрашний день набирать. Верные помощники, мастер Зидар да Костикэ-сопляк со своею сопелкой, вызвались вожатому помогать, а их отправил Маноле прочь, почитать, на утро сил набирать. А сам ночь не спит. На огне свинец кипит, Маноле из свинца скобы льёт, теми скобами кладку намертво берёт. Факелы во тьму всю ночь копят, до зари мастер правит стену каменную.

Чуть свет мастера да работники, наспавшись по домам, вернулись вспять, намесили заново раствора власть, стали стену класть. Один Маноле на стене стоит, на артель не глядит, руками бока подпёр, за туманом следит. Болит у вожатого голова, много выпито было вчера, и ночь провёл в труде, без сна, а всё одно — стоит, не смыкает глаз, со стены глядит.

Будто облако обстало звонницу. Льнёт к подножию стены туман, словно вознеслись и работники, и вожатый на недосягаемую вышину, где не достать их даже всесильному Черноводу-господарю. Но вот клубы белёдые покатились по холму, цепляясь рваными ключьями за кусты в ближнем лесу. Расступилось облако перед лучом зари, словно вражеский полк перед золотым мечом, что опустился с востока.

Открылась дорога, что вела на холм из чащи урочища. Кто-то шёл в гору, приближаясь к стене. Женщина несёт в одной руке узелок с едой, а в другой — баклажку с вином. Зоркий взгляд у вожатого. Вот уже он может различить, кто подняться ни свет ни заря была должна, чтобы муж был сыт. Жена его шла к стене.

Вся артель к ночи вернулась, каждый наштал своей жене дорогой, чтоб не шла поутру к башне, иначе быть беде горючей, муке неминучей.

Одна Маноле жена, лапушка ненаглядная, свет его очей, ночь не спала, мужа ждала, сердцем изнывала и завтра, ещё до света, собрала, что было, и бегом бежать на холм, мужа повидать.

Почернел Маноле от боли, сердце его пламенем занялось, кровью облилось. Сдавило мастеру грудь, и птицей выпорхнула оттуда ввысь мольба: чтобы разразилась буря и обрушились на землю дождь и гроза, и ветер, сильнейший на свете, что деревья с корнем рвёт, и мрак от небес до земли такой, что хоть выколи глаза, и стала бы буря стеной перед его женой, и чтоб она ужаснулась и вспять повернулась. Мольбе Маноле недалече от башни до тверди лететь, открылась с запада хляби небесная клеть, и вывалилась оттуда исчерна чёрная туча и разразилась грозой неминучей. Попрятались в страхе зодчие и работники под ударами грома и молнии, вихря могучего, дождя и града, а душа Маноле только тому и рада. Знает мастер своё искусство, и грозе против твёрдой его стены пусть будет пусто. Лапушка его ненаглядная обернётся домой, а в стену он замурует плоть жены чужой.

Страшный дождь объял звонницу и холм вместе с чернотой, льёт ливень проливной, ручей на холме стал рекой, подымется до краев стены и затопит всё водой. Но непоколебима стена, твёрдо стоит, а на самом её краю — Маноле, вперив взгляд во мрак такой, что хоть выколи глаза, силится, глядит. Вот рассеялась тьма, и видит мастер: ненаглядная его молодница встречь потоку идёт к стене вброд, не боится.

И явилась под стену и радостно машет ему: встречай жену ненаглядную, муж мой родной, я, мол, вот. А Маноле свинцовая скоба сердце жмёт. В горле застрял будто глиняный ком. Вожатый молвит с трудом: “Девятеро зодчих, двенадцать рабочих, вы её возьмите, камнем обложите, вмуруйте живую в стену глухую”. Для артели слово мастера закон. Мастера с подмастерьями исполняют приказ поспешно, камень кладут, не прячут усмешки. Даже верный Зидар про себя рад: чужую жену заживо хоронят. Жена Маноло в испуге молит: “Может, это шутка? Стынет душа, а на сердце жутко”. Один Костикэ, глухой пастушок, работает невпопад, плачет и горюет с женой Маноле в лад. Маноле молчит, на работу артели глядит. Вот уже кладка выросла до колен его лапушки, вот — по живот, а вот уже добралась

до чёрных её, ненаглядных глаз. Мастера торопятся, окрика Маноле не ждут, камень за камнем, за рядом ряд, кладут и кладут. Доносится до уха их и до вожатого глухой голос из-за стены, будто с того света слышат они: “Маноле, Маноле, муж мой дорогой, ненаглядный мой, стена придавила, дышать нету силы. Течёт из груди молоко, а сынок далеко! Криком дитя зашлось не шутя!”

Маноле не стерпел, говорит в ответ: “Помолчи, жена! В жертву ты нужна, чтобы вырос храм с колокольной до небес, чтобы звон малиновый рекой полонил всё окрест”. Ещё глуше голос говорит: “Пусть растёт звонница всем на удивленье. А кто для сынка найдёт молока?” — “Овцы вечером напоят молоком”. — “Кто его умоет?” — “Дождю пойти стоит, он-то и умоет”. — “А кто укачает?” — “Ветер вон гуляет, пусть зыбку качает, понянчит сынка, не вырос пока!”

Ничего не услышал Маноле в ответ, как будто за кладкой никого и нет. А работа с того мига пошла на лад. Вырос храм с колокольной из каменных гряд. Вскорости исполнился конец трудам, вырос до небес небывалый храм.

Торопит возница коней — восемь цугом, мчит возок господаря. Спешит узреть Черновод красоту небывалую, что воссияла на холме, как утренняя заря. С правителем свита его, бояре, паны, холопы, все торопятся диво дивное увидеть, на свой аршин примерять.

Издали ещё, воззрившись на храм, и Чёрный правитель и челядь его, как один, дивятся чудесам.

Маноле на самом верху, под солнцем, на куполе звонницы со всею своею артелью, Черновода встречает, и господарь сходу ему отвечает: “Маноло, мастер искусный, и девять твоих зодчих, и двенадцать рабочих! Вы дело дивное сотворили, зело мне угодили! А посему быть награде царской: вожатому вашему дарую чин боярский, а всем прочим — злата, кто сколько унесёт! И пусть отныне молится в храме сём дивном и прославляет меня народ. Пусть рекой разливается малиновый звон окрест, и пусть осенит во славу мою себя крестным знаменем каждый, вкушая пищу, какую ни ест”.

Только Черновод сказал про малиновый звон, как случилось чудо чудное: заиграла вдруг дудочка, печальная, нудная. Пастушок Костикэ был со всей артелью на куполе звонницы, и не было у него его дудочки костяной, а играл словно из-под самой основы храма кто-то иной.

Дудочка наигрывала мелодию одной из песен пастушка, ту, что так тешила зодчих и рабочих. Маноле пастушонку строго-настрога наказал её не петь, чтобы господарь, не дай Бог, не прогневался и не отдал палачу под плеть.

“Что за чудо? — зароптали бояре и челядь. — Дудка в храме сама по себе дудит?”

Костикэ-пастушок на жарком от солнца куполе стоит, на Маноло и Черновода, и зодчих, и рабочих, и бояр, и челядь глядит, да вдруг подхватывает, словно верёвочки обрывок, дудочки печальный мотив и поёт звонко, малиновым ручьём жаворонка:

“А вы, нистряны, теперь уже не паны, и ваш господарь не то, что встарь...”

Маноле приказал подмастерью замолкнуть, да песню уже не унять. Летит жар-птицей с дудочкой наперегонки, и чем ярче и звонче несёт их вдаль, тем багровее лицом господарь. Чернее тучи он стал, замолк, а после грозно изрёк: пусть лестницы от стены уберут, чтоб на куполе Маноле с зодчими и рабочими век воевать, от жажды и голода пропадать, мясо их пусть вороны склюют до костей, а кости забелеют от снега и дождей.

Услыхал Маноле господарский приказ, думу тяжкую задумал в тот же час. Взял и вынул заветную свинцовую скобу, и обрушил колокольную себе и всем людям на беду. Посыпались камни с высоты вниз, на головы бояр, челяди, самого Черновода, оказались те словно в реке, у которой нет брода.

Сказывали, что заветную скобу свинцовую вынул Маноле не из глухой стены, а из сердца своего, и башня от того и распалась. После не выжил на том холме никто: сам господарь, бояре его и слуги, зодчие, и рабочие, и Маноло, их вожатый, удумавший план проклятый.

Один только пастушок Костикэ спасся неведомо как. Мол, успел он сделать крылья из сухой и звонкой дранки, или вывернул свою песню наизнанку

и взлетел на ней над куполом, как на парусах, а прочие сгнули в рухнувших камнях и лесах.

Сказывали, что живая осталась и Маноле жена. Как в стену глухую её замуровали, помереть без еды, без воздуха была должна, да молоко питало, белых грудей ток, через дудочку дышала, что тайно дал ей пастушок.

Был Костикэ, а стал Константин. Взял он себе в жёны молодицу, Маноле вдовицу. Стали они жить-поживать, детей растить да добра прибавлять.

А не случись этого всего, не сказывали бы про то.

ИРМОЛОГИОН

Растения способны издавать звуки. Например, когда засуха или режут стебель. Понятно, когда звук издаёт переделанная в сопелку камышина. Или когда камыш шумит. Но чтобы растение само зывало к спасению? Неужели пугающая сказка поэта: о, если бы деревья говорили и лаяла трава, — оказалась былью?

Поначалу в наклонных землях Галилеи тростник называли “кана”. Изготовленные из тростника дудочки, палочки для письма, водоносы и винные чаши из терракотовой глины тоже именовались “кана”. Даже фотоаппараты “Canon” и пушкари-канониры с канонерками корнями своими восходят к канским истокам.

При внимательном взгляде становится очевидным: перечисленный ряд предметов напрямую соотносится с областью чуда. В Кане Галилейской вода водоносов претворилась в вино, потом тростниковая палочка запечатлела канское чудо на сирийском пергаменте с фотографической точностью, достойной восхищения самого взыскательного мастера светописи.

И вот оказалось, что тростинка может не только мыслить, но и кричит. Открытие произвело в научном мире эффект разорвавшейся бомбы, вызвало широкий резонанс в рядах практикующих ботаников, садоводов-виноградарей, огородников и флористов. Нечто подобное, наверняка, испытали бы астрофизики, услышав, наконец, голос, обращённый к ним из сердца вселенной, а их реченисы начертали бы изначальное, в канун большого взрыва прозвучавшее Слово.

От жажды и боли в соке растения образуются пузырьки. Резонируя, они вызывают вибрации, которые распространяются по тростинке и в воздухе. Человек, не вооружённый спецсредствами, не улавливает ультразвуковые призывы о помощи, но их слышат прочие: растения, птицы, рыбы и звери.

Не рождает ли трепет микромира отзвук вовне, резонанс во всесветном макромасштабе? Раскалённый поток устремляется из африканских пустынь на манящий прохладой простор островов Зелёного мыса. Давление делается настолько низким, что морщит безмятежную гладь океана. Тёплый бульон превращается в рябь.

Испарения влаги неисчислимыми мириадами шампанских пузырьков устремляются ввысь, где сбиваются в непрелазно грозовые груды. И, когда веселящий напор становится непомерным, наконец, выстреливает, как из царь-пушки или как из бутылки “клик” в натренированных на дуэль руках Пушкина. Пробки в люстры! Да здравствует праздник непослушания!

Из прожарки африканских предгорий Ирма спустилась к островам Кабо Верде без роду, без имени, как шаловливый щенок, что ненароком выскочил за калитку половить собственный хвост да погонять за бабочками. Но не прошло и суток, как шторм разросся, обнаружив силу урагана второй категории.

Словно по пунктам исполняя некий заранее обдуманый план, закончив с щенячьими проказами, Ирма перешла к воплощению своих истинных целей, явив стать, экстерьер и хватку во всей красе.

Сверкая чепрачным замесом бурого африканского песка и чёрных грозовых вихрей, на ходу свиваясь в свиток, перераспределяя порядки громов и молний, ливней и смерчей, гигантских волн, стихия двинула через Атлантику на запад. К этому времени её мощь достигла высшей, пятой категории, и все уже знали имя стихии — Ирма! Было что-то безоглядно искупительное

в разрушительном этом стремлении, отсылавшее к строчкам из детской народной песни:

*Далеко, далеко ускакала в поле молодая лошадь!
Так легко! Так легко! Не догонишь, не заманишь, не вернёшь!*

Впрочем, не кауркой, а всесветной владычицей бездны морской, сотрясая небо и сушу вкрадчивой поступью своих мягких лап, Ирма ступала по бездне. Круша и топя всё на пути, сея ливни и смерчи, страх и трепет, стихия торжественным маршем прошла с воинственной свитой по Барбадосу, Барбудам, Сен-Мартену, по пути зацепила Теркс и Кайкос и южную часть Багам.

Сделав передышку на Кубе, Ирма с новой, утроенной силой обрушилась на юго-восточное побережье США. Власти Флориды готовились к удару стихии, спешно проводили эвакуацию почти семи миллионов жителей полуострова, но всё равно неистовство явившейся буйной гостью превзошло самые худшие прогнозы. “Hurricane Irma! Apocalypse Now!”*, — причитали добропорядочные самаритяне, кто криком, кто — благоговейным шёпотом, в панике толпясь у потоков разверзшихся хлябей, в виду надвижения темноводных пучин страха и отвращения.

Двое суток без удержу резвилась Ирма на просторах цветущего штата, а потом ей вдруг разом будто наскучило. Без проволоочки разбушевавшея чудовище опять обернулось игрушкой, и девалась дурашливая щеня неизвестно куда, словно, досыта набегавшись вдоль по улице, вдруг вспомнила про родимый вольер, миски с мясом и кашей, со свежей водой, налитой заботливым хозяином.

Ирма ушла, а люди понемногу приходили в себя. Жертвами урагана стали 134 человека. На Барбадосе и Сен-Мартене больше половины жителей остались без крова. Масштабным разрушениям подвергся северо-восток Кубы, Гавану затопило.

Но более прочих досталось Флориде. Почти семь миллионов жителей эвакуировали, власти были вынуждены ввести в ряде штатов чрезвычайный режим. Материальный ущерб, нанесённый стихией, исчислялся десятками миллиардов долларов, и цифра эта постоянно росла. Но не разрушенные и повреждённые здания, затопленные, лишённые электричества и элементарных средств существования районы и целые города становились причиной всё более нараставшей тревоги властей, провоцируя ропот и недовольство среди населения.

Оказалось, что ураган, уйдя, оставил по себе заветный подарок, на память, вернее же — на беспомыслие. Смертоносная амёба, неглерия Фоулера, закупоренная в микрокапсулы, таилась во мраке тропических болот, заросших травой-пилой, в ожидании своего часа. И вот её час настал.

Ирма до самого донца взбаламутила первородную топь, добралась до преисподних логовищ аллигаторов в корнях кладуима и мангровых зарослей, и, взывав, болота изрыгнули незримый ужас вовне.

Неглерия уловила призыв и откликнулась, и, подхваченная неборимым порывом, разлетелась на сотни и тысячи миль по округе, населяя реки, озера, и лужи, и затопленные улицы и авеню, и бассейны добропорядочных самаритян. Тропический зной и температура бульона благоприятствовали, и амёба начала плодиться и размножаться. Смертоносность инфекции обуславливалась простотой её распространения: проникала через нос при купании, потом через обонятельный нерв пробиралась в головной мозг. Заражённый испытывал головокружения и припадки, начинал галлюцинировать, а в итоге терял обоняние, слух, зрение, память.

Первые случаи неглерии были зафиксированы одновременно в разных уголках цветущего штата: и в окрестностях южных болот, и у побережья Мексиканского залива, и у озера Окичоби, и в Майями, и на севере, на границе

* Ураган Ирма! Апокалипсис — сегодня! (англ). Вариант перевода фразы “Apocalypse Now”: “Даешь апокалипсис!” и “Апокалипсис нашего времени”.

с Джорджией. В считанные дни число обратившихся в медицинские службы со сходными симптомами достигло значений, заставивших власти снова объявить чрезвычайное положение, теперь уже для мобилизации сил на борьбу с эпидемией, а население снова в панике стало покидать свои жилища, теперь уже в ужасе перед страшной заразой.

Почти в то же время, когда цветущий штат за океаном залиывал раны после встречи с расшалившейся стихией, то есть примерно в конце августа, из точки А в точку В вышел пешеход. Начав движение в самый канун восхода солнца, к крайнему глинянскому дому он подошёл, когда только прорезался на востоке солнечный зубчик. Светло-огненный диск стремительно рос, пока не восстал во весь окоём над Турунчуком и Нистренией, Кучурганским лиманом и далее, за невозможными в своей независимости полями, над Черноморской прорвой. К этому мигу пешеход успел отмахать по трассе порядочных метров двести.

Он двигался со средней скоростью пять километров в час, рассчитывая часа через два достичь Слободзеи, а через шесть, то есть примерно к полудню, быть в Парадизовке. Там путник планировал не задерживаться, а, уточнив пару вопросов, двинуться дальше, в любом случае добравшись до конечной точки следования сегодня, пусть даже и к ночи.

Обозначенные точки подразумевали некий маршрут на карте Нистрени, в данном случае — воображаемый. Пешеход не пользовался навигатором, а шёл по наитию, в силу отсутствия у него не только мобильного телефона, но и прочих гаджетов. Шаг его соразмерялся с ритмом слов, выстраиваемых в ряды в его голове, озвученных маршем непрерывного, ритму шагов сообразного шёпота.

Так, от исходного пункта — Глиного, мимо поворота на Чобручи и до самой Слободзеи пешеход прошагал по строкам, исполненным бодрости и задора:

*Моряк Винно-черного флота,
Матрос корабля “Красностой”...*

На пути от Слободзеи к Карагашу, видимо, уже подустав и порастратив пыл, пешеход замедлился. Метр и ритм строки на данном отрезке обрели элегичность и плавность.

“В сандалиях бродить по Пристраничью...” — бормотал идущий, одной рукой утирая пот, а второй прикрывая темечко от солнца, взбиравшегося по небесной лесенке всё выше.

Бог знает, откуда затесалось в строку это “Пристраничьё”. Пешеход сиделся подставить в построение что-то другое: возвращался к исходному “по Галилее”; обыгрывал в версификации гидроним: “по Приднестровью”, но звучало, как версия фикции.

“Пристраничьё” стойко держало место в строю. В итоге шагавший, досадуя, махнул рукой, как раз, когда обстали его сады на подступах к Карагашу — яблоневые, сливовые, абрикосовые, черешневые.

“Пристраничьё...” — про себя соглашался пешеход. “Ну, и пусть Пристраничьё... И страна, и страница, и странник. И — Истр, и — пристань. И — пристрастие, и — ничьё”.

Тут его и подрезала чёрная “Волга”. Громоздко вильнув со встречной полосы своим раритетным корпусом и едва не скатившись в сверчащий кузнечиками грунтовый кювет, замерла на обочине перед самым его носом.

Из машины, открыв дверь со второй попытки, выпростался большой и громоздкий дед, под стать своему автомобилю. Мясистый нос винопивца громоздился на обветренно-красном его лице, оттеняясь ослепительной, без малейшего намека на лысину, сединой стриженных волос и ослепительной чернотой кузова “ГАЗ-31”.

“Думал — выдержит! А она, вишь, чё удумала! Не выдержала! Пульнула резина-то!...” — с досадой басил водитель, направляясь навстречу путнику. Подождав, пока тот подойдёт, он молча протянул ему руку, будто встреченному на улице приятелю, и, отираясь куском ветоши, вернулся к переднему

левому колесу. Оно прочно сидело на старом, в ржавчинах, диске. Сдувшаяся резина растеклась по земле, словно клякса, виноватая псина.

С соседнего с водителем, штурманского места доносились причитания. Крупная пожилая женщина, прикладывая усилия, словно борясь с машиной, которая её не пускала, выбралась из салона. От помощи она решительно отказалась и на воле осанисто поправила сбившийся платок с узором из красных и зелёных огурчиков, расшитых блестящей золотой нитью, не переставая приговаривать: “Учудил, старый, чуть человека не задавил... Если бы встречная шла?”

Водитель, к которому, как тут же выяснилось, можно было обращаться дядя Адам, озабоченно чесал седой затылок, в ответ неохотно бурчал, что мол, “не задавил и — не шла” и что “не надо было ещё и нутро напихивать теми сливами, будь они неладны”, и что чуть в кювет не ушли “со всем твоим урожаем, будь он неладен”.

Дедова спутница (как выяснилось, и супружница, и вообще, была ему настолько под стать, что путник бы не удивился, узнав, что её зовут Ева), тётя Мария напомнила, что именно Адам всё не мог нарадоваться, вот, мол, слива в этом году уродилась, как никогда (а груши каждый год у нас с гак-ком), вот, мол, на базар повезём, как в старые времена, тут же уточняя, раньше по Союзу-то с “её Адамом” фурами возили помидоры, сливы, абрикос, яблоки, черешню, в Киев, в Москву возили, раз даже в Минск... Своего мужа она именовала, ударяя на первый слог: “Адам”.

Речевой поток тётя Мария сопровождала чрезвычайно живой мимикой лица, свежего, несмотря на годы и бесчисленные морщинки. Фигура её в непомерной своей полноте сохраняла неуловимую женственность, крутобедростью и полногрудостью напоминая не только о грушах, но — дынях и персиках.

Решётку на крыше венчали три уложенных боком, накрепко перехваченных верёвками вместительных мешка, судя по проступающим контурам, с грушами. Крышка багажника была прихвачена бечёвкой к фаркопу, напоминая разинутую пасть бегемота или чёрный ботинок, который просит каши. Только машина просила не каши, а тёмно-сиреневого чернослива, что поблескивал из пасти багажника и из ящиков, забивших нутро всей задней половины салона, словно чёрная “Волга” напилась чернил.

От предложенной Нистором помощи в починке колеса дядя Адам не отказался. Пока выгружали пластиковые, фанерные и бумажные ящики со сливами из багажника, чтобы добраться до домкрата, пока откручивали будто вросшие в диски болты и поднимали кузов, тётя Мария развлекала их разговором.

Дядя Адам с досадой пояснил, что и запасное колесо выставил в гараже, чтобы освободить больше места для этих слив, будь они неладны.

— Уф... хорошо, не зацепили... Маршрутка, видала, Мария, как встречь пронеслась?..

— Видала... — без всякой иронии и спора согласилась тётя Мария, живо, без всякого перехода, переключая внимание то на пострадавшее колесо, то на деда, то на помощника. Веско заявив: “В рубашке родился!” — она спросила, как его зовут, и он ответил, что Нистор, и уточнил: “Постраничный”, — чем немало тётю Марию развеселил.

Бесчисленные морщинки-старички её лица собрались в руслица для вешней влаги, подлившейся в выцветших и потому прозрачно хрустальных зрачках, и она добавила, что и муженёк её тоже, значится, в рубашке, ну, и она с ними за компанию. Дядя Адам, отирая ветошью своё озабоченное лицо, добавил, что по всему, мол, выходит, что Мария родилась в рубашке ночной. И вдруг разразился таким заразительным хохотом, что поневоле заставил смеяться тётю Марию и Нистора. И “Волга”, кажется, распахнула бегемотову пасть во всю ширь необъятной чернильной улыбки.

Тётя Мария спросила, куда он направляется. Он сказал, что в Парадизовск, но вообще-то в Пахары, в село, на крестины. Тётя Мария спросила, кого будут крестить, а он ответил: девочку, дочку его друзей. Тётя Мария ответила, что у неё с дядей Адамом три крестника, а ещё трое детей и семеро

внуков, и что с ними живёт их младшая дочка, и что она не замужем, а старшие дети с внуками в Германии, и что её Адам — из нистрянских немцев, и что дети зовут их в Германию, а Адам никуда из своего Коротного, от своего погреба и Зелёного рынка в Парадизовске уезжать не хочет, а она очень по детям скучает и особенно по внукам. Потом тётя Мария спросила, как зовут крестницу, а Нистор ответил, что назвали Марией, потому крестить собираются на Покров. “Вот, вишь, тёзка!” — воскликнула тётя Мария, и Нистор согласился, что это — добрый знак.

Её оставили сторожить урожай и машину, а Нистор помог дяде Адаму откатить колесо к вулканизации, по центральной карагашской улице Ленина чуть ли не через полсела. Дядя Адам по пути всё нахваливал свою “Волгу”, лошадку-тяжеловоза, и что она, конечно, “ГАЗ”, хоть и местной, бендерской сборки. Нистор рассказывал, что у деда его тоже была “Волга”, только не чёрная, а бежевая, и что дед прошёл всю войну в кавалерийской дивизии, но не в седле, а шофёром “полуторки”, а после войны ездил на “двадцать первом” “ГАЗе”, а потом папа ездил на этой “Волге” и учил брата водить, а его уже не успел, и Нистор сам учился водить на машинах, которые дед назвал бы трофейными. Один раз, когда возвращались с моря и заехали по дороге к родственникам во Владимировку, дед сильно напился, но всё равно сел за руль и доехал до дома, и когда уже поставил машину в гараж, повалился на бок и заснул прямо в салоне. “Да, двадцать первая... Переключатель скоростей на рулевой колонке... — почтительно отвечал дядя Адам Нистору, катившему залатанное колесо, рассудительно добавляя, что в прежние времена можно было себе такое позволить, и машин на дорогах было меньше, и гаишники добрее, а сейчас попробуй проедь, хоть немного выпивши...

Тётя Мария и дядя Адам довели его до самого Парадизовска, куда они направлялись со своим черносливом и грушами. По дороге, зажатый между ящиками и спинками сидений, Нистор ел истекающие соком плоды, складывая в карман раскосые сливовые косточки и грушевые плодоножки. Из сумки, зажатой в ногах, тётя Мария извлекла баклажку.

После схлынувших треволнений тётя Мария попритихла, молча отхлёбывала из горлышка, то и дело передавая Нистору баклажку с терпкой и духмяной изабеллой, “прошлогодней, потому что этого года ещё, сам понимаешь, нету...”

Дядя Адам, наоборот, говорил. Выяснилось, что попутчик совершенно не осведомлён относительно текущей обстановки в стране и в мире, и водитель, безмерно воодушевлённый возобновлением пути, щедро делился последними новостями, неотрывно при этом следя за дорогой.

— Вот, вишь, как бывает-то. Был человек и — нет человека. А казалось, не может его не быть, как бы вечный, как бы бессмертный. А оказалось, правитель — тот же мешок костей. Явился этот, что башню ему построил, тряхнул как следует, да всю душу из него и вытряхнул. Были у них счёты. Или за башню не рассчитался? Поди рассчитайся за такую громадину. Опять же, говорят, из-за бабы. Не поделили, говорят. Тот в состоянии аффекта и порешил.

— Что в мире творится! — вступила в разговор тётя Мария. — Вон с океана какой страх Господень на Америку пришёл, сколько людей побило. Икнув, она добавила:

— А правда, что он был незрячий?

— Кто? — с досадой спросил дядя Адам.

— Ну, главный наш, хозяин этого, как его, таблоида.

— Эх, бабонька... Не таблоида, а гиперблоида!.. Городят огород, а ты и рада повторять... — не сдерживая эмоций, сокрушался дядя Адам. — Как можно слепому страной рулить.

— Страной!.. Сказал тоже, старый!.. Гулькин нос страны-то...

— Гулькин, не гулькин, а гульку вон какую выгнали!.. Небосвод подпирает...

— Так при чём тут страна? Ты, Адам, одно с другим не мешай...

— Всё равно... Мне вот глаза завяжи, куда я на “Волге” своей зарулю?

— Да ты, старый, уже зарулил только вот... Тебе и завязывать не надо... — отвечала тётя Мария, без особого, впрочем, напора.

Дядя Адам рассмеялся, покачав головой.

— С бабой только свяжись. Вот и наш-то... Не он хозяин гиперболоида был, а гарант. Разницу видишь? Хозяин ЦИРКА и не-ЦИРКа — его сын, господарь всенистрианского праздника. А мать его, вишь, женой приходится этому, который башню строил и правителя нашего порешил. Хитро у них всё и запутано. Папашу порешили, муженька объявили в международный розыск, а она теперь, значит, всё к рукам прибрала и на пост у руля заступила.

— У какого руля? — переспросила тётя Мария.

— У самого что ни есть главного. Совет безопасности инициировал проведение экстренного заседания Верховного Совета с участием членов правительства, на котором секретарю Совбеза делегировали полномочия верховного правления до проведения внеочередных президентских выборов.

— Ну и что?

— Как “ну и что”? Так секретарём Совбеза как раз и является жена строителя гиперболоида, и она же — мать гарантова сына. Ушлая, говорят, такая и клятая, что страх и ужас. Она, мол, всем верховодила, а гарант, как слепой котёнок, был так только, ширмой, для отвода глаз, и этот её, муженёк-архитектор, тоже был у неё под каблуком. А та для сынка своего всё старалась, плела кружевные сети, чтоб в итоге его посадить на ЦИРК и на царство.

— Это страхомордый, в маске всё время ходит?

— Так теперь говорят, всё, баста, уже не ходит. Как батьку его порешили, так он, говорят, сразу маску и скинул. Мать, говорят, и заставила, и после он со своей зазубой укатил за океан, переждать, пока всё тут устанится. Зазуба у него оттуда родом, из-за океана, и сама, как ночь, чёрная. А там, говорят, за океаном, явился он со своей кралей на вечеринку, а там сплошь выставка: миллионеры, артисты кино, певицы, детишки буржуев-капиталистов. Ну, и он-то не лыком шит, те — миллионеры, а он — миллиардеров сын, и девка его — звезда и огонь. Непонятно, что вышло, да только он вдруг достал пистолет и начал палить. Сорок девять пуль вышустил, и каждая, говорят, нашла свою жертву. Пистолет у него, говорят, был непростой: называется РМР, очень вместительная обойма...

— Адам у нас охотник... — пояснила, делая глоток из баклажки, тётя Мария.

— Одну обойму выпустил, успел перезарядить и опять давай палить. И всё хладнокровно, с расчётом... А последнюю, значит, пятидесятую — оставил себе...

— В себя, что ли, выстрелил? Ой, свят, свят... — переспросила тётя Мария. — Да как же пустят на такое мероприятие с оружием? Там же всё проверяют. Мы вон на футбол ходили когда, как досматривали...

— Да у них там с оружием не то, что у нас: держи в сейфе, плати взносы. Каждый, кому не лень. А чего у него пистолет с собой оказался, поди разбери. Может, искал кого наказать, может, за жизнь свою опасался. А то говорят, что, мол, никуда Зебулов сынок не укатил, а как узнал, что батьку порешили и его ищут, задумал бежать с помощью специального устройства, на манер дельтаплана или парашюта специального, и спрыгнул с самой поганкиной маковки, да только устройство его не сработало, и он оземь на смерть разбился. А другое гуторят, что он сам отца порешил, а после сам сиганул с верхотуры без всякого дельтаплана.

— И где это ты нахватался новостей?

— Да сегодня, пока Горша помогал грузить, рассказывал. Уже, говорит, и первые декреты за подписью новой владычицы нашей обнародованы. Первый, под названием “О воде и воле”, отменяет проект по закабалению Днестр-реки плотинами с целью создания пресных морей. И второй, “О небе и суше”, возглашает реновацию гиперболоида. Разберут наверхи и три верхних яруса с целью оптимизации башни, экономии средств на содержание ЦИРКа, а деньги направят на социальные статьи госрасходов, в первую очередь, на поддержку неимущих слоёв. Сама знаешь, Мария: Горша зря болтать не станет, у него сын и невестка, сама знаешь, где на хлеб зарабатывают.

— Ну, и знаю... Лучше бы подальше они держались от этой Валя-Зебулуй.

— А где им ещё работать? Малышню кормить надо. Или лучше, как старший их, податься на заработки, да и загулять там по пьянке?

— Пусть бы лучше батьке своему в саду да в огороде помогали. А Валика их жалко, толковый был парень... — тщетно пытаюсь передать баклажку Нистору, доверительно пояснила тётя Мария. — В школе с нашей младшей, Танькой учился...

— А я всегда знал, что он бестолковый, — с горячностью отозвался дядя Адам. — Человек, если толк в нём есть, так его не пропьёшь... Что ему от добра было искать? Нравится тебе девушка — женись. И он Тане нравился. А за каким чёртом попёрся в ту Москву?

— Известно, за каким... — с готовностью подхватила тётя Мария. — Ну, ладно, спутался ты там с той гулящей и пьющей, так зачем было её с собой привозить, всему селу напоказ?..

— Обидел он Таню... Месяц потом болела, на нервной почве... Хотя бы объяснился по-человечески... — выдохнул дядя Адам.

— Да, всё так. А всё Валика жалко. И Таню — ещё жалчее. Всё она у нас в незамужних. Глядишь, устроилась бы в ту Валя-Зебулуй, нашла бы кого.

— Не надо нашей доченьке абы кого. И ту Валю-Зебулуй с потрохами не надо. Один Валик вот уже приключился... — сурово произнёс дядя Адам, въезжая в Парадизовск. — Ничего, к тому, кто умеет ждать, всё придёт в свой срок. Пусть вон огородом занимается...

— У нас, вишь, своих двадцать соток и виноградник, — разъясняла тётя Мария. — Да ещё и деда Лаврентия дом, это значит, Адамова отца, ещё двенадцать соток. И хозяйство: куры, гуси, два поросё... Адам дедов дом старшему оставил, так Лёшка с женой и детками в Германию подался. На историческую родину. И Лена, средняя наша, за ним, с мужем и детьми. А Адам не хочет ехать, говорит, что мол, тут его историческая родина, потому что тут, на кладбище в Коротном, его отец и мама лежат, и дед с бабушкой. Так что Тане хватает хлопот. И сейчас на хозяйстве осталась. А тоже в город хотела.

— Да куда ей ехать, если местов нет в машине, одна слива твоя? — проворчал дядя Адам.

— Она у нас девка хозяйственная... Только тихоня, а парням надо, чтоб побойчей, чтоб сама захомутала. Вот как я своего...

— Поговори мне, женщина... — откликнулся дядя Адам.

— Младшенькой, ей всегда больше заботы нужно. Она у нас родилась в 92-м. А Адам через три дня в казачество записался. И — на передовую. Где это слыхано, чтобы немец в казаки шёл?

— С отцом на заводе работал немец Олег Оттингер, тоже поверстался в казачество... — откликнулся Нистор. — Погиб в июне в Бендерах. Похоронен в Парадизовске, на мемориале Славы. А мой папа через неделю... Я тоже девяносто второго...

Дядя Адам и тётя Мария переглянулись. Как раз, когда они миновали скульптуру “Три колхозника” на выезде из Суклеи, тётя Мария предложила:

— Ты когда, Адам, собирался давить виноград? Через две недели? Вот пускай помощник придет тебе подсобить.

И, не вытерпев, многозначительно добавила:

— И с младшей нашей заодно познакомится... А что?

Дядя Адам буркнул по адресу жены что-то неразборчивое, но тут же уточнил, что такой цүйки, как у него, нет во всей Нистрениии, да что там, во всём Коротном. И виноградная, и жарделеваая, шестьдесят и семьдесят оборотов.

— Вино ваше — что надо, питкое... — отрываясь от горлышка, удовлетворённо выдохнул Нистор.

— Нет, я всё... — запротестовала тётя Мария, отводя протянутую Нистором бутылку.

— Ну, тогда допью... Тут на доньшке...

Дядя Адам с тревогой посмотрел в зеркало заднего вида.

— Ты гляди... Оно-то питкое, но по ногам как ударит... И по извилинам... Накроет с головой, не вынырнешь...

Нистору опасения были, что шум моторов мелькавших по встречной машин. В лобовое стекло накатывал Парадизовск. Словно полотнище в струе свежего ветра, в мыслях выполаскивался обрывок фразы: “Шестьдесят и семьдесят оборотов”.

Над горлышком баклажки кружила плодовая мушка. Откуда её занесло? Понятно, откуда. Сопровождает сливу. С каждым глотком его словно бы возносило следом за мушкой. Дрозофилы наделены удивительными способностями. Например, они не подвержены воздействию радиации. Способны совершать в воздухе немислимые манёвры. Немислимые в буквальном смысле этого слова. Нервные окончания в крылышках реагируют на сигналы от зрительных нервов напрямую, минуя маленький мозг.

— Отсутствие рефлексии и возможности выбора... Не это ли уподобляет их ангелам?

— Они сладкоежки и питают пристрастие к продуктам брожения, сливам, грушам, вину.

— Дрозофила — плод *воображения*. Разве вообразить не означает вознесение во области заочны? То же, что и метафора.

— Попить бы. Сушняк просто страшный.

— Поднести тебе чашу? Колодезной влаги? Или “Варницкой”? С газом? Без газа? Или влаги покрепче? Винно-чёрной...

— Принеси освежающей, как твой голос.

— “Несение” значит: “фора”.

— Дай мне фору.

— Знаешь, как в глаголице выглядит буква “Слово”? Чертами она уподоблена чаше “Троицы Живоначальной”. Чаша — образ Слова, которое было в начале.

— Пить!.. Принеси мне чашку...

* * *

— Где я?

— В Коротном. Не хлопай дверцей. Родители спят.

— В Коротном? Мне надо в Парадизовск.

— Не могли тебя разбудить. Фрукты продали, ездили по магазинам... Потом ещё стояли на Одесской, у слободзейского перекрёстка. Ждали, что проснёшься. Мама говорила. А ты всё спал. Сначала на ковриках под сидением. Потом перетащили на сидение.

— Сколько я спал?

— Четырнадцать часов. Приехали, поели и — спать. Устали они... Дверцу придерживай... Папа на любой звук из “Волги” чутко реагирует.

— Ты чего сидишь в темноте?

— Отдыхаю... Весь день грядки полола. А огород у нас...

— Знаю... Двадцать соток... И ещё — двенадцать... Мне надо в Парадизовск.

— Голодный, наверное?..

— Можно попить?.. Сильно сушит...

— Есть “Варницкая”. Папа пьёт с газом, мама — без газа. Или — вина? Чёрного? И я бы выпила. Освежает после прошовки. Вообще, оно красное, но у нас его зовут чёрным.

— Твой голос...

— Что мой голос?

— Мне надо вернуться в Парадизовск.

— Одного возвращения на сегодня мало?

— Пить очень хочется.

— Хорошо. Сейчас принесу чашки.